

2 **русская речь** 1979

МАРТ — АПРЕЛЬ

Научно-популярный журнал Института русского языка Академии наук СССР • Основан в 1967 году • Выходит 6 раз в год • Издательство «Наука» • Москва

В номере:

П. Н. Денисов. Индивидуальный стиль	
В. И. Ленина и общелитературный язык	3
Л. А. Морозова. Употребление В. И. Лениным	
пословиц	10

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

<i>К 235-летию Д. И. Фонвизина</i>	
А. И. Горшков. О языке Фонвизина-прозаика	15
А. В. Дановский. Слово в драматургии эпохи классицизма	21
<i>К 170-летию Н. В. Гоголя</i>	
В. Н. Хохлачева. Из наблюдений над стилистикой «Мертвых душ»	27
А. С. Немзер. О названиях повестей Гоголя	33
М. О. Чудакова. Булгаков и Гоголь	38
Н. М. Молева. Гоголь в Москве	49
<i>К 90-летию Л. Н. Сейфуллиной</i>	
М. А. Галманова. Мастер народной речи	57
В. И. Кононенко. «Несказанное, синее, нежное...»	63

КУЛЬТУРА РЕЧИ

К. С. Горбачевич. Русское ударение	69
А. А. Брагина. Чужое — свое	75
С. И. Виноградов. Отвечает «Служба языка»	81

ЛЕКСИКА

Л. А. Нестерская. Острый — нож, соус, язык	84
О. М. Шагапова. Термины родства в ревисских сказках	89

СРЕДИ КНИГ

С. Е. Морозова. «Восточнославянские языко- веды»	95
---	----

ДРЕВНЯЯ КУЛЬТУРА И ПИСЬМЕННОСТЬ

С. В. Смирнов. Румянцевский кружок . . .	97
Б. И. Осипов. Особенности старинного русско- го письма	104
В. П. Тимофеев. «Собирал человек слова...»	108

НА КАРТЕ РОДИНЫ

Н. Д. Русинов. Канавино и кума-чародейка	113
--	-----

Н. А. Ревенская. Новые контуры в лингви- стической географии	119
---	-----

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

А. В. Макеев. Русское слово в Южном Йемсе	121
---	-----

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

В. А. Виноградов. Петр Саввич Кузнецов	124
--	-----

ХРОНИКА

В. С. Голышенко. VIII Международный съезд славистов	129
--	-----

ОЛИМПИЙСКИЕ АРЕНЫ МОСКВЫ

Г. П. Смолницкая, М. В. Горбаневский. Проспект Мира	132
--	-----

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

Б. Л. Богородский. Так держать!	137
Е. Н. Этерлей. Об окрошке, тюре, муре и мур- повке	141
В. С. Филиппов. Балаган	147
Н. В. Чурмаева. Подблюдные песни. Суже- ный-ряженный. Ряженные. Присяга	150

Б. А. Никонов. Из словаря русских фамилий (продолжение)	155
--	-----

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

Вешний; Эозиновый	157
-----------------------------	-----

*В Институте русского языка АН СССР
осуществляется составление
«Словаря языка В. И. Ленина».
Заведующий сектором Словаря
доктор филологических наук П. Н. Денисов
в своей статье делится мыслями
по поводу некоторых проблем,
возникающих перед исследователем
при первых попытках осмысления фантов
языка и стиля В. И. Ленина
с лексикографических позиций.*

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ В. И. ЛЕНИНА И ОБЩЕЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

Индивидуальный стиль писателя — это структурное единство, система средств и форм словесного выражения в ее развитии. Важной частью этой системы является лексика. Писатель, пользуясь общелитературным языком своего времени, отбирает, комбинирует и в соответствии со своим творческим замыслом объединяет слова в своеобразную, исторически, тематически, идейно и эстетически оправданную индивидуальную лексическую систему. Такие системы известны нам как лексика языка произведений Пушкина, лексика языка произведений Толстого и т. д.

Обычно за рамками исследований остается часть слов, которыми пользовался Пушкин или Толстой в жизни, вне своих произведений. В этом естественном словоупотреблении Пушкина или Толстого скрывается исходная лексическая база, на которой строится их творческая лексическая система. Знание этой базы позволило бы полнее судить о личных вкусах, наклонностях и характере писателя. Виднее была бы и творческая переработка общего языка в художественной системе писателя. В этом отношении лексика произведений какого-либо писателя выступает как дополнение и как надстройка над его естественным, жизненным словоупотреблением. Например, у Л. Н. Толстого каждый персонаж говорит своим языком. Крестьянин — как крестьянин, князь — как князь, галломан — как галломан, светская львица — как светская львица. Но ведь сам Л. Н. Толстой имел собственный излюбленный обиходный лексикон.

Безусловно, основными факторами, влияющими на индивидуальный стиль, являются общелитературный язык соответствующего периода с его нормами, общепринятая система функциональных, жанровых и экспрессивных стилей его, исторические условия творчества, общественная среда и ближайшее социальное окружение, тематика произведений, идейные установки и эстетическая платформа писателя.

■

Для стилистического почерка В. И. Ленина, устанавливаемого по его трудам, характерны, например: а) частое употребление приставки *архи-*: архиблагонамеренный, архиважнейший, архинадежный, архиневверный, архиневыгодный, архинеобходимый, архинеправильный, архипужный, архипасный, архипопортунистический, архипосторожный, архипоучительный, архиреакционный, архискверный, архисомнительный, архитрудный, архитяжкий, архихарактерный, архиповинистический, архибыстро, архиважно, архивежливо, архивнимательно, архивяло, архиглуно, архидобросовестно, архиконспиративно, архикоротко, архикорректно, архикратко, архилюбезно, архимало, архинагло, архинастойчиво, архибостоятельно, архи-

подло, архипридирчиво, архисекретно, архисерьезно, архисключно, архискудно, архистрого, архитактично, архитвердо, архитрудно, архииэнергично, архиначеку, архибуржуа, архинагоняй, архипоппортунизм, архипастырь, архипатриот, архирадикал, архиреволлюционер, архискандал, архиютопия; архивозмутить, архивыиграть; б) тройственные сочетания синонимов, а также лексические ряды разного рода (повторы, подхваты и т. д.). «Это состояние крайней истерзанности, измученности войной русского народа хочется сравнить с человеком, которого избили до полусмерти, от которого нельзя ждать ни проявления энергии, ни проявления работоспособности. Так и в русском народе, естественно, эта почти четырехлетняя война, обрушившаяся на страну, которую расхитили, истерзали, изгадили царизм, самодержавие, буржуазия и Керенский, вызвала по многим причинам отвращение, явилась величайшим источником громадных трудностей, которые мы переживаем» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 37, с. 14); в) широкое использование метких народно-разговорных слов в полемическом контексте. «Стиснув зубы, не хорохорься, а готовь силы. Революционная война придет, в этом у нас разногласий нет...» (Т. 36, с. 33). Глагол *хорохориться* в Словаре Д. Н. Ушакова имеет помету *разг. фам.*

Привычный обиходный лексикон автора и лексика, попавшая на страницы его произведений, связаны друг с другом. Вполне определенно это можно утверждать относительно приставки *архи-*. Она не могла бы приобрести такой стилистической активности в трудах В. И. Ленина, не будь она по каким-то причинам привычной для его спонтанной речи. Однако характер этой связи между словами, употребляемыми в обиходе, и словами, сознательно вводимыми в произведения, будет различным для разных лексических пластов, для разных стилистических явлений, наконец, для разных людей.

Тот, кто не пишет романов, стихов или ученых трактатов, обычно ограничивается в своем речевом обиходе привычным бытовым и профессиональным лексиконом, не задумываясь о стилистических эффектах. Тот, кто оставил после себя большое литературное наследие, имеет указанную двойственность в своем лексиконе. Иногда

привычные с детства слова могут вкрапливаться и в тексты. Так, в языке В. И. Ленина слова *путаник*, *путаный* (встречается даже *архипутаный*), по мнению исследователей, попали в тексты, поскольку В. И. Ленин родился в Симбирской губернии, где слово *путаник* было на устах у всех, но было очень редким в общелитературном языке.

Слово *путаник* вошло в первый советский толковый нормативный словарь под редакцией Д. Н. Ушакова с пометой *разг. неодобрит.* и с цитатой из Ленина: «...Жалкий вздор неокантIANцев, позитивистов, махистов и прочих путаников» (Т. 18, с. 384). В Большом академическом Словаре *путаник* имеет два значения и подтверждается цитатами из А. Островского, Мамина-Сибиряка и Сергеева-Ценского.

В языке В. И. Ленина другие слова этого корня также используются в абстрактном значении: *путаная позиция* (Т. 48, с. 153—154), *путаная фраза* (Т. 30, с. 228), *путаный лозунг* (Т. 11, с. 197) и *непростительно путаный лозунг* (Т. 11, с. 290), *путаные взгляды* (Т. 33, с. 192), *безнадежно путаные люди* (Т. 11, с. 252), *наиболее путаные головы из романских синдикалистов и анархистов* (Т. 41, с. 26). Слово *путаность* встречается у В. И. Ленина в сочетаниях *путаность теории* (Т. 7, с. 46) и *путаность плана* (Т. 11, с. 209—210).

Во всяком случае, если слова *путаник*, *путаный*, *путаность* и восходят к диалектизмам в речи В. И. Ленина, то они получили в его творческой переработке определенную функциональную нагрузку, так как, во-первых, употребляются только в абстрактном значении и, во-вторых, предназначаются, в основном, для отрицательной характеристики взглядов, теорий, позиций, критикуемых В. И. Лениным за логическую, политическую и иную непоследовательность, рыхлость, нечеткость.

Литературный язык и общенародный разговорный язык являются тем историческим фоном, на котором осмысливается и оценивается лексическая система выдающегося поэта, писателя, ученого или мыслителя. Важно, например, знать не только то, какие слова или группа слов использованы писателем, но и то, какие словарные пласты оставлены в стороне, какие были возможности выбора и что в конце концов отобрано и почему.

Рядовой носитель языка, как правило, активно не владеет функциональными стилями художественной литературы, научной прозы, деловых документов и т. д. Он владеет ими пассивно, то есть способен понять или почувствовать нарочитые стилистические приемы. Иное дело — писатель.

Он активно владеет различными стилями. Он — творец. Умение пользоваться словом и придает его языку своеобразие и стилистическую многогранность. Его вклад в общелитературный язык заметен, он иногда фиксируется в специальных исследованиях и словарях.

Писатели, публицисты, пропагандисты и агитаторы обязаны, учитывая лексико-стилистическую компетентность своих читателей или слушателей, писать или говорить популярно, понятно, избегать редких узкоспециальных слов, усложненного синтаксиса, вычурного стиля. Известно, что В. И. Ленин прекрасно понимал эту необходимость учитывать уровень аудитории, ратовал за повышение этого уровня. Н. К. Крупская отмечала, что В. И. Ленин учился популярно говорить и писать у Писемского, Чернышевского, но больше всего у рабочих. Элементы разговорного синтаксиса, разговорной интонации отмечались исследователями в стиле В. И. Ленина.

В. И. Ленин был вождем российского и мирового пролетариата, создателем партии нового типа, основателем советского государства, мыслителем, философом, идеологом, публицистом, пропагандистом, народным трибуном и пламенным оратором. Тематика его трудов необычайно широка, его идейное и литературное наследие огромно. Полное (пятое) собрание сочинений, по которому в настоящее время готовится словарь, занимает пятьдесят пять томов. Изучая лексику языка В. И. Ленина, мы соответственно выделяем тематически и стилистически преобразованные слова.

■

Личный вклад В. И. Ленина в словарный состав современного русского литературного языка изучен еще далеко недостаточно. «Словарь языка В. И. Ленина» поможет очертить границы ленинского лексикона, по уже

сейчас можно сказать, что в трудах В. И. Ленина творческому преобразованию подверглись все лексические пласты словарного состава общелитературного языка.

Например, Н. В. Гоголь ввел в литературный обиход метафорическое значение слова *кулак*, характеризуя им Собакевича, Чичикова и других. Но творческая трансформация этого слова в языке В. И. Ленина привела к его наполнению точным социально-классовым содержанием. Оно стало членом терминологического ряда *бедняк, середняк, кулак*, вошло в системную характеристику классового расслоения крестьянства, стало достоянием современного русского литературного языка, обросло производными *кулацкий, кулачество, подкулачник*.

Ленинское содержание фиксируется словарями и энциклопедиями для сотен и сотен терминов марксистской философии, политэкономии, научного коммунизма, партийного и советского строительства, социалистического хозяйствования, военной науки и т. д.: материя, материализм, идеализм, солипсизм, агностицизм, диалектика, время, пространство, антагонизм, противоречие, противоположность, общее, отдельное, особенное, ощущение, понятие, постепенность, скачок, эволюция, революция, класс, классовый, партия, демократия, монархия, самодержавие, единоначалие, план, планирование, сосуществование, война, оппортунизм, ревизионизм, пролетариат, пролетарий, рабочий, соревнование, государство, советы, власть, политика, империализм, социализм, коммунизм, индустриализация, коллективизация и т. д.

В. И. Ленин создал язык общественных наук. Его вклад в тематическую лексику неоценим. Велико новаторство В. И. Ленина также и в преобразовании функционально-стилистической перспективы русского литературного языка и его словарного состава. Он создал новый, боевой, наступательный стиль для общественных наук, пронизанный партийностью; заложил основы советского делового языка в области законодательных актов, дипломатических документов. В. И. Ленин явился основоположником и стиля советской публицистики («языка газеты»).

Исследователями отмечалось системное переосмысление военной лексики и фразеологии в «языке газеты»,

которое надо вести от В. И. Ленина и редактируемых им лично большевистских газет: трудовой фронт, продовольственный фронт, наступление буржуазии, наступление капитала, отступление классового врага, продовольственный отряд, трудовая армия и т. п.

Если язык науки, официально-деловой язык и язык газеты как функциональные разновидности современного русского литературного языка несут на себе печать ленинского влияния, то при рассмотрении каждой такой разновидности в жанровом (жанрово-стилистическом) отношении мы найдем ленинское влияние на современный ораторский, полемический, научно-популярный и иные стили. Правда, это влияние труднее связать с определенными лексическими пластами, оно носит характер воспринятых у В. И. Ленина стилистических приемов. Но факт ленинского влияния неоспорим.

В лингвистической Лениниане можно найти описание ленинского вклада в терминологию, а также творческого использования народно-разговорных слов для полемического снижения или перебора стиля, своеобразного, преимущественно иронического использования старославянизмов, библеизмов, латинизмов и др. Отмечается поразительное богатство ленинского лексикона в области использования пословиц, поговорок, афоризмов, крылатых слов, литературных цитат. На всех этих группах слов и фразеологизмов всегда лежит индивидуальная стилистическая окрашенность, часто не совпадающая с данными словарей и с общепринятыми стилистическими канонами. Это составляет особую проблему изучения ленинского словаря.

Конечно, некоторые слова и выражения, встречающиеся у В. И. Ленина, стали историзмами или остались окказионализмами: *беззаглавцы*, *голосовец*, *бернштейниада*, *вспышкопускательство*, *самодержавщик* и др. Здесь могут представить интерес излюбленные словообразовательные модели В. И. Ленина.

В заключение можно сказать, что проблем много, так как изучение лексики языка В. И. Ленина только начинается. Оно несомненно обогатит нашу науку не только с фактографической, но и с теоретической стороны.

П. Н. ДЕНИСОВ

УПОТРЕБЛЕНИЕ В. И. ЛЕНИНЫМ ПОСЛОВИЦ

Пословицы — малый фольклорный жанр, широко бытующий в речи в виде устойчивых, поэтически и грамматически завершенных суждений. Сила пословиц в неотразимом воздействии на ум, взгляды и чувства людей.

В публицистике В. И. Ленина, в его философских произведениях, в выступлениях на съездах, в документах, в письмах родным и деловой переписке мы находим большое количество пословиц, употребление которых обусловлено различными задачами. Часто одна и та же пословица выполняет разные функции. Например, «Каждый за себя, один бог за всех» в одном произведении служит средством характеристики пережитков прошлого: «...мы будем годы и десятилетия работать не покладая рук. Мы будем работать, чтобы вытравить проклятое правило: „каждый за себя, один бог за всех“, чтобы вытравить привычку считать труд только повинностью...» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 41, с. 108); в другом примере — используется для показа разобщенности мелких собственников: «На таком-то режиме мелких, раздробленных товаропроизводителей (и только на нем) оправдывалась поговорка: „каждый за себя, а за всех бог“, т. е. анархия рыночных колебаний» (Т. 1, с. 177).

В. И. Ленин по-разному использует пословицы в различных жанрах своего творчества. В письмах они употребляются обычно в традиционном значении в соответствии с бытовым содержанием. Вот типичный пример: «Насчет того, чтобы надолго остаться здесь, — я не ду-

маю: „в гостях хорошо, а дома лучше“» (Письмо из Берлина от 29 августа 1895 года, адресованное М. А. Ульяновой).

В публицистике пословицы подвергаются самым различным изменениям: от усечения (употребления одной части) — до полного изменения смысла (замены отрицательного значения положительным). Так, например, пословица «Ложка дегтя испортит бочку меда» бесконечно варьируется в лексическом составе в зависимости от идейно-художественных задач, стоящих перед автором. Обычно эта пословица употребляется в значении «небольшой, но коварный пустяк испортит важное дело». Это основное значение пословицы относительно постоянно. «Ложка дегтя в бочке меда» — так названа неоконченная рецензия на книгу О. А. Ерманского «Научная организация труда и система Тейлора» (1922). Ее смысл объяснен в тексте рецензии: «Книга г-на Ерманского чрезмерно велика, и без всякой надобности. Это мешает ее популярности...» (Т. 45, с. 207). Текст пословицы лишь сокращен. В таком же варианте она употреблена в статье «Уроки Московского восстания», где Владимир Ильич пишет: «Тов. Сосновский даже превосходные статьи свои, скажем, из области производственной пропаганды, умел иногда снабжать такой „ложкой дегтя“, которая далеко перевешивала все плюсы самой производственной пропаганды» (Т. 42, с. 272).

Здесь пословичный образ воспринимается как элемент целого и сохраняет способность ассоциироваться с основным относительно постоянным значением пословицы.

В произведениях В. И. Ленина встречаются варианты перефразировки пословицы, связанные с изменением как лексического состава, так и стилиевой окраски: «Марксизм начинается лишь там, где начинается сознание, понимание того, что эта истина недостаточна, что она заключает в себе ложку правды и бочку неправды, что она заглушеывает глубину противоречий, прикрашивает действительность, отрицает единственно возможные средства выхода из положения» (Т. 20, с. 202).

Как видим, В. И. Ленин творчески использовал потенциальную возможность пословицы. Основа этого — внутренняя семантическая монолитность ее.

Владимир Ильич Ленин часто изменял пословичный текст в зависимости от того, использовал ли он пословицу для характеристики частных лиц и конкретных событий или для выводов и обобщений. В первом случае мы наблюдаем конкретизацию пословиц, во втором — усиление обобщенного значения. Например: «И пускаться в преобразования раньше, чем практически испытаем, как будет выполняться единый хозяйственный план, мы не собираемся. Тут надо семь раз отмерить и один раз отрезать» (Т. 42, с. 170).

Пословицы становятся средством точного выражения какого-либо качества, когда соотносятся с историческими лицами: Парвусом, Плехановым, Петцольдтом, Струве: «Буржуазия великолепно понимает, что плехановские идеи сеют именно лживую мысль о „политическом мире“ и притупляют на деле всякую классовую рознь, всякую классовую борьбу. Коготок увяз у товарища Плеханова — и вся „птичка“ оказалась, по отношению к современной политике, в клетке у г. Струве» (Т. 13, с. 160—161) (сравни: «Коготок увяз — всей птичке пропасть»); «Если на удочку Авенариуса попало несколько молодых интеллигентов, то старого воробья, Вундта, провести на мякине не удалось» (Т. 18, с. 89) (сравни: «Старого воробья на мякине не проведешь»); «То, что у г. Потресова и прочих врагов партии *на уме*, оказалось слишком рано *на языке* у Мартова» (Т. 20, с. 49) (сравни: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке»).

Конкретизация связана с оценкой какого-либо исторического события: «Поражение революционного выступления в этой ситуации, как и во многих других, было, с точки зрения диалектического материализма Маркса, меньшим злом в общем исходе пролетарской борьбы, чем отказ от занятой позиции, сдача без боя: такая сдача деморализовала бы пролетариат, подрезала бы его способность к борьбе» (Т. 26, с. 81) (сравни: «Из двух зол выбрай меньшее»).

Своеобразие употребления пословиц В. И. Лениным состоит в широком использовании их ассоциативных возможностей, что позволяет ему вводить пословицы в самые разнообразные контексты философского, исторического и социального содержания: «Сначала синица сули-

ла зажечь море, т. е. построить физические элементы из психических, а потом оказалось, что физические элементы лежат вне границы психических элементов, „лежащих внутри нашего тела“! Философия, нечего сказать!» (Т. 18, с. 59—60). Сочетание в публицистике Ленина научной терминологии, отвлеченной лексики и ярких народных пословичных образов придает особую экспрессию его стилю.

Излюбленным приемом конкретизации пословиц в системе доказательств у Ленина является параллелизм:

«Было бы болото, а черти найдутся. Была бы шаткая, колеблющаяся, боящаяся развития революции мелкая буржуазия,— появление Кавеньяков обеспечено» (Т. 32, с. 346).

Повторение сходной с пословицей синтаксической конструкции, но в ином лексическом наполнении обеспечивает понимание глубокой ленинской мысли. Обычно первая часть в параллелизме — пословица, она несет всем доступную, образно выраженную мысль, вторая — конкретизирует пословичную идею, направляет ее в нужное русло: «Не все то золото, что блестит. Много блеску и шуму в фразах Троцкого, но содержания в них нет» (Т. 25, с. 190). Когда возникает необходимость разъяснения смысла, вкладываемого в пословицу Лениным, то вторая часть комментирует ее. Чаще всего это происходит с метафорическими пословицами: «„Новая“ теория ренты построена по старинному рецепту: „назвался груздем, полезай в кузов“. Раз свобода конкуренции,— тогда уже не должно быть абсолютно никаких ограничений ее (хотя такой абсолютной свободы конкуренции нигде никогда и не существовало). Раз монополия,— конечно дело» (Т. 5, с. 122).

Часто в качестве средства обобщения выступают пословицы в заглавиях. В. И. Ленин в такой функции использует как полный текст пословиц: «Посмешишь — людей насмешишь» (Т. 25, с. 180); «Лучше меньше, да лучше» (Т. 45, с. 389); «Лучше поздно, чем никогда» (Т. 22, с. 277); так и трансформированный: «Журавль в небе или синица в руки» (Т. 32, с. 317).

Пословица обобщенно выражает мысль автора, являясь композиционным зачином, отправной точкой выска-

ывания. В этой роли она служит предпосылкой анализу. «„Друзья сказываются в песчашке“, и рабочий класс, переживающий тяжелые годы натиска и старых и новых контрреволюционных сил, неизбежно будет наблюдать отпадение многих и многих из его интеллигентских „друзей на час“, друзей на время праздника, друзей только на время революции,— друзей, которые были революционерами во время революции, но поддаются эпохе упадка и готовы провозгласить „борьбу за легальность“ при первых удачах контрреволюции» (Т. 19, с. 292).

Нередко пословицей В. И. Ленин завершает мысль, подводя итог ранее сказанному: «*Русская революция объявила Европе об открытой войне русского народа с царизмом.* Фактически, русская революция делает этим попытку выступить от имени нового, революционного правительства России. Несомненно, что это лишь первая, слабая попытка,— но „лиха беда начало“, говорит пословица» (Т. 10, с. 349).

К народной мудрости прибегает В. И. Ленин и в целях непосредственного воздействия, воспитания: «Надо ковать железо, пока горячо, и для этого использовать подавление кулаков для повсеместного беспощадного подавления спекулянтов хлебом, для конфискации у крупных богатеев хлеба и для массовой мобилизации бедноты, наделенной хлебом» (Т. 50, с. 148); «Насильно мил не будешь, и нельзя говорить о внутренних делах партии, не решив твердо и неуклонно, хотим ли мы идти вместе или нет» (Т. 7, с. 266),— убеждал В. И. Ленин делегатов II съезда РСДРП, выступая по вопросу о месте Бунда в партии.

В любом тексте, будь то письмо, телеграмма или труд о сложнейших вопросах теории и практики общественно-политической борьбы, пословицы являются важным экспрессивно-эмоциональным и композиционным элементом стиля В. И. Ленина. Выделяясь образностью, обладая чрезвычайной меткостью, они служат выполнению важных идейно-художественных и политических задач. Как особый лексический пласт они контрастно выделяются на фоне книжной, деловой, научной лексики.

Л. А. МОРОЗОВА

ЯЗЫК
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



К 235-летию
Д. И. Фонвизина

О ЯЗЫКЕ

ФОНВИЗИН — ПРОЗАИКА

В наши дни Фонвизина больше знают и ценят как драматурга, автора замечательных комедий «Бригадир» и «Недоросль», чем как писателя-прозаика. Между тем проза Фонвизина была одним из выдающихся явлений русской литературы и русского литературного языка второй половины XVIII века.

В этот период русский литературный язык активно освобождался от устаревшей лексики и фразеологии, от архаичных синтаксических конструкций, но главное — сближался с разговорным языком народа. На этом пути намечались новые способы и приемы организации литературного текста. Пышное многословие, риторическая торжественность, метафорическая отвлеченность и обязательная украшенность постепенно уступали место краткости, простоте, точности. Одним из писателей, которые сыграли значительную роль в развитии русского литературного языка на новом этапе, был Денис Иванович Фонвизин.

В языке его прозы широко используется народно-разговорная лексика и фразеология; в качестве строительного материала предложений выступают различные несвободные и полусвободные разговорные словосочетания и устойчивые обороты; происходит столь важное для последующего развития русского литературного языка объединение «простых российских» и «славенских» языковых ресурсов.

Декларированное теорией классицизма разделение литературного языка на три стиля — «высокий», «средний» и «низкий» опровергалось Фонвизиним. Разрабатывались языковые приемы объективного отражения действительности в ее самых разнообразных проявлениях; намечались принципы построения языковых структур, характеризующих «образ рассказчика». В прозаическом языке Фонвизина, как и в языке Новикова, Радищева, Крылова, намечались и получили первоначальное развитие многие важные свойства и тенденции, которые, минуя карамзинский «новый слог», нашли свое дальнейшее развитие и получили полное завершение в пушкинской реформе русского литературного языка.

Прозаические сочинения Фонвизина переводил и писал на протяжении тридцати лет. От первых опытов до «Писем из Франции» (см. журнал «Русская речь», 1969, № 1) и блестящей прозы 80-х годов — «дистанция огромного размера». Рассмотрим язык одного из самых значительных произведений Фонвизина последнего периода творчества — автобиографической повести «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях».

Эта повесть как памятник истории русского литературного языка замечательна прежде всего разнообразием и характером стилей языка, используемых в пределах одного произведения. Эта черта убедительно свидетельствует о преодолении старых жанрово-стилевых разграничений, предписывавшихся учением о «трех стилях».

В начале «Вступления» к своей повести, отдавая дань традиции составления духовных завещаний, Фонвизин в церковно-книжной манере пишет о причинах, побудивших его откровенно рассказать о своей жизни: «Но я, приближаясь к пятидесяти летам жизни моей, прешед, следственно, половину жизненного поприща и одержим будучи трудною болезнию, нахожу, что едва ли остается мне время на покаяние, и для того да не будет в признаниях моих никакого другого подвига, кроме раскаяния христианского: чистосердечно открою тайны сердца моего и *беззакония моя аз возвещу*» (Д. И. Фонвизин. Собрание сочинений в двух томах. М.— Л., 1959, т. 2).

Однако такого рода контексты занимают в «Чистосердечном признании» не более двух страниц. Провозглашая: «чистосердечно открою тайны сердца моего», Фонвизин был, конечно, совершенно искренен и как человек, и как писатель. Но в то же время, как писатель с давно сложившимися убеждениями и оформившимся художественным методом, Фонвизин не мог замкнуться в анализе своего внутреннего мира. Его стихией было изображе-

ние среды, русской действительности второй половины XVIII века в ее разнообразных проявлениях.

Собственно говоря, уже во «Вступлении», рассказывая о родителях, Фонвизин переходит от субъективно-аналитического к объективно-повествовательному изложению. «Чистосердечное признание» — это живой рассказ о событиях, которым он был свидетелем, и о людях, с которыми сталкивала его жизнь. Естественно, что объективно-повествовательная манера изложения требовала и соответствующего стиля. Поэтому церковно-книжные элементы только на первых страницах сливаются в одно стилистическое целое, а в дальнейшем лишь изредка вкрапливаются в ткань повествования. Например: «Отец мой жил с лишком семьдесят лет. Причиною сему было воздержное христианское житие»; «Вторая супруга отца моего, а моя мать, имела разум тонкий и душевными очами видела далеко».

В целом же язык первой и, особенно, второй книг «Признания» коренным образом отличается от языка первых страниц «Вступления». Церковно-книжная стихия уступает место стихии разговорной. Однако повествовательный язык Фонвизина не замыкается в разговорной сфере, по своим выразительным ресурсам и приемам он гораздо шире, богаче. Безусловно ориентируясь на разговорный язык, на «живое употребление» как основу повествования, Фонвизин свободно использует и «книжные» элементы, и западноевропейские заимствования, и философско-научную («метафизическую», по выражению Пушкина) лексику и фразеологию. При этом его рассказу часто присуща или прямая насмешливость (в этом случае используется просторечие), или тонкая ирония (в этом случае могут использоваться «книжные» элементы или западноевропейские заимствования). Богатство используемых языковых средств и разнообразие приемов их организации позволяют Фонвизину создавать на общей разговорной основе различные варианты повествования.

Например, в рассказе о знакомстве «с сыном одного знатного господина» на первый план выступает именно устная, «сказовая» манера. Весь рассказ заключен в одно пространное предложение, которое разворачивается, как будто в устном изложении, свободно, непринужденно, отражая последовательность описываемых событий. В кульминационной части рассказа используется экспрессивно окрашенное просторечие, которое подчеркивает остроту ситуации:

«Стоя в партерах, свел я знакомство с сыном одного знатного господина, которому физиономия моя понравилась; но как скоро спросил он меня, знаю ли я по-французски, и услышал от меня, что не знаю, то он вдруг переменился и ко мне похолодел: он

счел меня невеждою и худо воспитанным, начал надо мною шпынять; а я, приметя из оборота речей его, что он, кроме французского, коим говорил также плохо, не смыслит более ничего, стал отъедаться и моими эпиграммами загонял его так, что он унялся от насмешки и стал звать меня в гости; я отвечал учтиво, и мы разошлись приятельски» (Впоследствии Фонвизин изучил французский язык и знал его в совершенстве).

Совсем в ином «стилистическом ключе» построен рассказ о любви Фонвизина и объяснении с любимой женщиной. Здесь нет экспрессивно окрашенной «высокой», «славенской» лексики и фразеологии. Избегает Фонвизин и экспрессивных просторечных слов и выражений. В описании остро драматической ситуации выступает лишь «общее языка употребление». Фонвизин был первым из русских писателей, который понял, что описав сложные взаимоотношения и сильные чувства людей просто, но точно, можно достичь большего эффекта, чем с помощью тех или иных словесных ухищрений. Рассказав о своем знакомстве «с одним полковником, человеком честным, но легкомысленным, имеющим жену предпочтенную», Фонвизин далее пишет:

«Однажды я, проводя у них вечер, нашел тут сестру ее родную, женщину, пленяющего разума, которая достоинствами своими тронула сердце мое и вселила в него совершенное к себе почтение. Я познакомился с нею и скоро узнал, что почтение мое превратилось в неліцемерную к ней привязанность. Я не смел ей открыться, ибо она была замужем... накануне моего отъезда, увидясь с нею наедине, открылся я ей в страсти моей искренно. „Ты едешь,— отвечала она мне,— и, бог знает, увидимся ли мы еще; я на тебя самого ссылаюсь, как я тебя убегала и как старалась скрыть от тебя истинное состояние сердца моего; но разлучение с тобою и неизвестность свидания, а паче всего сильная страсть моя к тебе не позволяет мне долее притворяться: я люблю тебя и вечно любить буду“. Я так почитал сию женщину, что признанием ее не смел и помыслить воспользоваться; но, условясь с нею о нашей переписке, простился, оставя ее в прегорьких слезах».

Конечно, «разлучение» и «паче» здесь явно неудачны, даже со скидкой на эпоху их нельзя признать естественными в любовном объяснении. Современнее выглядело бы повествование и без «книжных» конструкций словорасположения «совершенное к себе почтение», «неліцемерную к ней привязанность». Но и несмотря на эти «погрешности» приведенный отрывок поражает небывалой для того времени простотой языка и силой чувства. По мнению Г. П. Макогоненко, это — «одна из замечательных страниц реалистического русского романа» (Г. П. Макогоненко. Денис Фон-

визин. Творческий путь, М.—Л., 1961). Действительно, нельзя не отметить заслуг Фонвизина в разработке приемов реалистического изображения сложных человеческих чувств и жизненных конфликтов. Чтобы увидеть, какой огромный шаг был сделан писателем на этом пути, достаточно сравнить язык приведенного отрывка с языком сделанного Фонвизиним в 1769 году перевода повести «Сидней и Силли», где сходная ситуация изображается с помощью набора риторически-экспрессивных лексических и синтаксических средств:

«Забудь меня, владычица души моей... Ах, что я говорю? Но мне сказать то надобно: извлеки, любезная Юлия, извлеки образ мой из своего сердца, сделай благополучными своих родителей и того... которому счастье велит быть в твоих объятиях. Я еду, оставляю Европу... покидаю Юлию. Не старайся ведать, что со мною будет, куда влечет меня несчастье. Если буду я иметь силу жить еще на свете, то мне дозволено будет иметь и душу мою, наполненную тобою: после Юлии кто мною владеть может?»

Очень интересные языковые контексты представлены в третьей книге «Чистосердечного признания», в которой Фонвизин описывает свои попытки «определить систему... в рассуждении веры». Здесь можно было бы ожидать возвращения к той манере выражения, которая представлена в начале «Вступления». Но ничего подобного не происходит. «Система в рассуждении веры» и проблема «бытия божия» переводятся Фонвизиним из религиозного в морально-этический аспект, и писатель прибегает не к церковно-книжному, а к «метафизическому» языку с его характерной специальной терминологией, в которую лишь изредка включаются отдельные церковно-книжные выражения. Своеобразие этих рассуждений заключается еще и в том, что они даны в форме диалогов между Фонвизиним и Г. Н. Тепловым, которые ориентированы не столько на диалог как литературный жанр, сколько на естественный, «живой» разговор. Это, конечно, обуславливает проникновение в текст разговорных и даже просторечных элементов. В результате создается очень оригинальный сплав разнообразных языковых средств. Диалоги между Фонвизиним и Тепловым иногда ведутся даже и не в морально-этическом, а в общедоступно-житейском, «бытовом» плане. Тогда рассуждение переходит в живое изображение, рассказ. Вот как, например, строится одна из реплик Теплова:

«На сих днях случилось мне быть у одного приятеля, где видел я двух гвардии унтер-офицеров. Они имели между собою большое прение: один утверждал, другой отрицал бытие божие. Отрицающий кричал: „Нечего пустяки молоть; а бога нет!“ Я вступился и спросил его: „Да кто тебе сказывал, что бога нет?“ —

„Петр Петрович Чебышев вчера на Гостином дворе“, — отвечал он. „Нашел и место!“ — сказал я».

В «Чистосердечном признании» Фонвизин передал высказывания некоторых известных деятелей того времени. В большинстве они очень кратки. Более или менее пространны только высказывания Н. И. Панина и Г. Н. Теплова. Сравнение их показывает, что Фонвизин был очень внимателен к индивидуальным особенностям языка и сумел сохранить эти особенности в своей передаче.

Язык Теплова, хотя и не чуждый некоторых разговорных и даже просторечных элементов, в целом отличается «литературностью». Характерен каламбур в рассказе Теплова о судьбе «Опыта о человеке» А. Попа в переводе Н. Н. Поповского: «Но какие неприятности, какие затруднения встретил бедный переводчик к напечатанию... Попы стали переправлять перевод его и множество стихов исковеркали, а дабы читатель не почел их стихов за переводчиковы, то напечатали они их нарочно крупными буквами, как будто бы читатель сам не мог различить стихов поповских от стихов Поповского».

Реплики Н. И. Панина наделены большей простотой и разговорной непринужденностью: «Паче всего внимание графа Никиты Ивановича возбудила Бригадирша. „Я вижу, — сказал он мне, — что вы очень хорошо правы наши знаете, ибо Бригадирша ваша всем родня; никто сказать не может, что такую же Акулину Тимофеевну не имеет или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойственницу“»; «И я у тебя обедаю, — сказал граф брату своему, — я не хочу пропустить случая слушать его чтение. Редкий талант! У него, братец, в комедии есть одна Акулина Тимофеевна: когда он роль ее читает, тогда я самое ее и вижу и слышу».

Таким образом, «Чистосердечное признание» по тематике оказалось гораздо шире, по идейному содержанию глубже, а по языку разнообразнее и интереснее, чем намечалось во «Вступлении». Это явилось естественным следствием идейно-художественной позиции и писательского мастерства Фонвизина, раскрывшихся с наибольшей полнотой в прозе 80-х годов.

Пушкин очень ценил Фонвизина. «„Русский из перерусских“, Фонвизин, „сатиры смелый властелин“, был для Пушкина образцом национально-реалистического стиля, ярким воплощением русского духа. Историко-бытовая характерность его языка, острота сатирических отражений жизни и свобода слога представлялись Пушкину наиболее широким выражением народного начала в русской литературе до Крылова» (В. В. Виноградов. Стиль Пушкина. М., 1941).

А. И. ГОРШКОВ

СЛОВО В ДРАМАТУРГИИ ЭПОХИ КЛАССИЦИЗМА



Лучшей русской комедией XVIII века является комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль», занявшая достойное место в золотом фонде национальной драматургии. В 1787 году в Москве был издан «Драмматический словарь, или Показания по алфавиту всех Российских театральных сочинений и переводов, с означением имен известных сочинителей, переводчиков и слагателей музыки, которые когда были представлены на театрах, и где, и в которое время напечатаны». Этот уникальный памятник сохранил для нас интересный отзыв современников о премьере комедии «Недоросль»: «Недоросль. Комедия в пяти действиях, сочинения г. Фонвизина, представлена в первый раз в Санктпетербурге, сентября 24 дня 1772 года [опечатка, следует читать: 1782 г.— А. Д.], на щот [в бенефис] первого придворнаго актера г. Дмитриевского, в которое время несравненно театр был наполнен и публика аплодировала пиесу метанием кошельков. Характер Мама [Еремеевны] играл бывшей придворной актер г. Шумской к несравнительному удовольствию зрителей; а на Московском театре роль сия представлена вольным Московскаго театра актером г. Ожогиным также к совершенной забаве публики. Сия комедия, наполненная замысловатыми изображениями, множеством действующих лиц, где

каждой в своем характере изречениями различается, заслужила внимание от публики».

В приведенной записи обращаем особое внимание на замечание о языковой характерности, неповторимом своеобразии речи действующих лиц «Недоросля». Жанр комедии требовал острой критической наблюдательности драматурга и актера, четкого отбора яркого жизненного материала и способствовал становлению и развитию реалистических элементов в драматургии и сценическом искусстве. «Недоросль» еще связан с нормативной эстетикой классицизма и вместе с тем выступает как переходное явление, содержащее в языке персонажей яркие черты реалистической типизации характеров.

Главный герой комедии — Стародум, непосредственный выразитель идей автора и в то же время живой образ русского просветителя и гражданина, сочетающего в своем характере разум и чувство. Основную нагрузку в речи Стародума несут такие слова и понятия, как *долг, честь, любочестие, отечество, добродетель, благородство, благонравие, злонаравие* и т. п. «Тщетно звать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве сам заразится... В тогдашнем веке [в эпоху Петра I — А. Д.] придворные были воины, да воины не были придворные...» — так афористичность оказывается одной из характерных особенностей речи Стародума. В ней использованы инверсии: «раба гнусных страстей его», «друг мой»; риторические вопросы и восклицания: «Как ей учить их благонравию?»; усложненный синтаксис: обилие придаточных предложений, распространенных определений, причастных и деепричастных оборотов и других характерных средств книжной речи. Стародумом используются и средства разговорной речи передовых дворян того времени: «можно сказать», «подлее ничего на свете не знаю». Положительный герой комедии употребляет слова эмоционально-оценочного значения: *душевный, сердечный, грубый и развращенный тиран, гнусные страсти* и др. По-разному он разговаривает с Правдиным, Милоном, Софьей, Простаковой и другими персонажами. Речевая характеристика Стародума отличается разносторонностью и своеобразием.

Речь других положительных персонажей комедии «Недоросль» — литературно правильная речь среднего стиля: «А, любезная Софья, на что ты и шуткою меня терзаешь» (Милон); «Подумай же, как несчастно мое состояние! Я не могла и на это глупое предложение отвечать решительно» (Софья); «Я и сама имею честь знать вашего дядюшку. А, сверх того, от многих слышал об нем то, что вселило в душу мою истинное мое почтение» (Правдин). Речь каждого положительного героя не лишена индивидуальности, хотя в меньшей степени, чем речь Стародума.

Более колоритна языковая характеристика так называемых бытовых и отрицательных персонажей. В ней представлена типичная разговорная речь необразованных людей, соответствующая чаще всего низкому, а порой приближающаяся к среднему стилю. Если речь Стародума включала в себя афоризмы, то здесь использованы каламбуры — сходно звучащие слова, приобретающие комическое значение. «Люблю свиной, сестрица, а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни одной, которая став на задние ноги, не была бы выше каждого из нас целой головою» (Скотинин). «Нет, нет, матушка. Уж лучше сам выздоровлю. Побегут-ка теперь на голубятню, так авось либо...» (Митрофан). «По крайней мере я люблю его, как надлежит родителю, то-то умное дитя, то-то разумное, забавник, затейник; иногда я от него вне себя, от радости сам истинно не верю, что он мой сын» (Простаков). Фонвизин избегает натуралистических крайностей низкого стиля, которых не могли преодолеть многие современники выдающегося комедиографа. Он отказывается от грубых, нелитературных речевых средств. При этом постоянно сохраняет и в лексике, и в синтаксисе черты разговорности.

Чаще всего просторечными, грубыми словами пользуется Простакова: *мошенник, воровская харя* (*воровская* — означает „преступная“ — А. Д.), *собачья дочь, скот* и т. п. — такие слова она употребляет по отношению к персонажам, зависящим от нее (крепостные слуги) или равным по положению (Скотинин). «Я, братец, с тобой лаяться не стану», — говорит она брату, а на Еремеевну кричит: «Ну... а ты, бестия, остолбенела, а ты не впилась братцу в харю, а ты не раздернула ему рыла по уши...».

Речь Простаковой подчеркивает ее деспотизм, барское высокомерие, самодурство по отношению к зависимым от нее людям. Совсем по-другому она обращается к Стародуму: «Нечаянный твой приезд, батюшка, ум у меня отнял; да дай хоть обнять тебя хорошенько, благодетель наш!..» «Государь мой! батюшка! Мой батюшка!» — заискивает она. Обращаясь к сыну, она находит ласкательные формы слов: «...Митрофанушка?.. Обойми меня, друг мой сердешный! Вот сынок, одно утешение». Рисуя Простакову, Фонвизин применяет многообразные речевые средства, всесторонне характеризующие героиню.

Об использовании Фонвизиним приемов реалистической типизации свидетельствуют и колоритные речевые характеристики отставного солдата Цифиркина, бывшего семинариста Кутейкина, учителя-кучера Вральмана, созданные путем привлечения слов и выражений, употреблявшихся в военном быту; архаической лексики и цитат из духовных книг; ломаной русской речи. Ц и ф и р к и н: «Вот на! Слыхал ли? Я сам видел здесь беглый огонь в сутки

триду часа по три». Кутейкин: «Да кабы не умудрил и меня владыко, шедши сюда, забрести на перепутье к нашей просвирне...» Бральман: «Ай! ай! ай! ай! Теперь-то я фижу! Умарит хотя репенка!..».

С помощью приемов реалистической типизации речи автор представляет и крепостных слуг. Рабски преданная господам Еремеевна, всегда услужливо добросовестна, готова в любой момент понести незаслуженное наказание («Ах, уходит он его! Куда моей голове деваться?»); умелец-портной Тришка знает себе истинную цену и отстаивает свое человеческое достоинство («Да ведь портной-то учился, сударыня, а я нет»).

Наблюдая за речью современников, Фонвизин создает в своей комедии разнообразные социально-речевые характеристики, обогащая литературный язык новыми средствами выражения. Однако в целом он еще остается, как замечает В. Г. Белинский, писателем «ломоновского периода русской литературы».

Картина применения слова в русском театре 2-й половины XVIII века была бы неполной, если бы мы обошли вниманием главный, высокий драматический жанр классицизма — трагедию, раскрывавшую конфликт между страстями и разумом, демонстрировавшую губительность деспотизма, тиранства, произвола. Обратимся к одной из лучших трагедий, о которой в «Драматическом словаре» напечатано: «Димитрий Самозванец. Трагедия сочинена Александром Сумароковым, представлена в первый раз в 1771 г. февраля 1 дня на Императорском театре в Санктпетербурге, потом многократно представляемая на Российских театрах, имеющая довольно уважения для любителей драматических сочинений. Роль Димитрия играл в совершенстве бывший Московской первый актер г. Калиграф. Напечатана последним тиснением... в Москве в Университетской типографии у г. Новикова 1781 года». Используя для сюжета события так называемого «смутного времени» начала XVII века, драматург обнажил непримиримое противоречие между государственными, общественными интересами и злой волей, низменными страстями деспота-тирана, изверга на троне.

Каковы особенности стиля этой классицистической трагедии? Приводим в качестве примера два высказывания ее персонажей — «злодея» Димитрия и его жертвы княжны Ксении.

Д и м и т р и й

Российский я народ с престола презираю
И власть тиранскую неволей простираю...
Перед царем должна быть истина бессловна;
Не истина — царь, — я; закон — монарша власть,
А предписание закона — царска страсть...

Ксения

Блажен на свете тот порфиноносный муж,
Который не теснит свободы наших душ,
Кто пользой общества себя превозвышает
И снисхождением сан царский украшает,
Даруя подданным благополучны дни,
Страшатся коего злодеи лишь одни.

Согласно теории «трех стилей», в высказываниях персонажей имеются приметы высокого стиля. Это слова церковнославянского происхождения: *престол, презираю, предписание, порфиноносный, превозвышает, снисхождением*; краткие и усеченные прилагательные: *бессловна, монарша, блажен, благополучны* и т. п. Возвышению речи, изображающей идеи «важные и высокие», способствует перифраз — «порфиноносный муж», то есть достойный государь, одетый в царскую порфиру. Противоположный по значению перифраз — «тать [то есть вор — А. Д.] венца, убийца п тиран», — произносит жених Ксении князь Галицкий, готовый принять смерть за общее дело. В речи персонажей использованы высокие метафоры: «Димитрий мной увянет, Низвержется, падет и не восстанет...» — говорит князь Шуйский, замышляющий государственный переворот. Из синтаксических фигур следует отметить многочисленные инверсии: «власть тиранская», «сан царский» и др.; риторические восклицания: «Рази меня, немилосердый царь!» (слова сторонника просвещенной монархии Георгия Галицкого) и т. п. Торжественному звучанию речи помогает александрийский стих: шестистопный ямб с парной рифмой.

Таковы некоторые из основных признаков высокого стиля в трагедии «Димитрий Самозванец». Налицо в ней также разговорные и книжные формы, употребляемые образованными людьми второй половины XVIII века: *закон, свет, украшает, даруя подданным, который, кто, коего, мне думается* и т. д. Произведение Сумарокова отличается ясный, четкий синтаксис, лишенный запутанной витиеватости длинных периодов. В целом слог «Димитрия Самозванца» скорее может быть отнесен к среднему стилю, который «состоять должен из речений больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славянские, в высоком штиле употребительные, однако с великой осторожностью, чтобы слог не казался надутым» (М. В. Ломоносов. Предисловие о пользе книг церковных в российском языке). Сумароков боролся с излишествами высокого слога. «Витийство лишнее природе злейший враг», «Пропади такое великолепие, в котором нет ясности», — заявлял он.

«Нет тайны никакой безумственно писать,
Искусство — чтоб свой слог исправно предлагать,
Чтоб мнение творца воображалось ясно
И речи бы текли свободно и согласно», —

читаем в «Эпистоле I», (1747).

Трагедийным спектаклям был свойственен высокий, декламационный стиль исполнения ролей, который требовал от актеров соблюдения фонетических архаизмов: *биют* вместо *бьют*; *кровию* вместо *кровью*; *хощу* вместо *хочу* и т. д. Включенные в ритмическое движение александрийского стиха, фонетические архаизмы придавали торжественность, величавость высказываниям персонажей. Многие актеры, как говорил известный театральный деятель Ф. А. Кони, «старались проявить силу внутреннего движения силой наружной формы: громовыми звуками, неистовыми движениями, размахистым жестом; они походили более на гладиаторов» (см.: История русского драматического театра. М., 1977). Наставник первых русских актеров Сумароков предостерегал исполнителей трагедийных ролей от «несмысленного» воспевания «гласом диким» того, «что дерзостно невежа сочинит» («Эпистолы II»). Искусством строгой классицистической игры вполне владел И. А. Дмитриевский, которому в известной мере удавалось преодолевать статичность, нарочитую декламационность трагедийных спектаклей. Так, в трактовку Димитрия Самозванца он вносил правду человеческих чувств. Большое впечатление на зрителей производил первый монолог V действия, особенно то место, когда при звуке колокола Димитрий вскакивал с кресла со словами:

В набат бьют! сему биению что причина?!
В сей час, в сей страшный час пришла моя кончина.
О, ночь, о, что за ночь! О, ты, противный звон!
Вещай мою беду, смятение и стон...

По-другому роль Димитрия Самозванца исполнял известный актер и драматург Плавильщиков. Он с пафосом декламировал, используя эффектные жесты.

Дальнейшее развитие отечественной драматургии и театра происходило под знаком слияния жанров и стилей. Обогащенные опытом классицизма, талантливые драматурги и артисты новых поколений находили своему слову широкий общественный отклик, используя театр как «кафедру, с которой читается разом целой толпе живой урок... с которой можно много сказать миру добра» (Н. В. Гоголь).

А. В. ДАНОВСКИЙ



К 170-летию Н. В. Гоголя



ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД СТИЛИСТИКОЙ «МЕРТВЫХ ДУШ»

Поэма «Мертвые души» вошла в сокровищницу русской художественной литературы, ознаменовав собой новую эпоху в развитии русской реалистической прозы.

Грандиозный поэтический замысел Гоголя, о котором он сообщал Пушкину в 1835 году: «...мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь», а позднее и Жуковскому: «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем!», — осуществился.

В период создания «Мертвых душ» Гоголь, продолжая пушкинскую традицию, использует «поэтическое слово как художественное отражение действительности и выражение внутреннего содержания личности и общества» (В. В. Виноградов). «Обобщенное отражение действительности» воплотилось в образе автора, объединяющем все стилистические приемы словесного искусства, всю его образную стилистико-языковую структуру, определяющую взаимосвязь и взаимодействие всех его композиционных частей.

Образ автора вырос из образа рассказчика его ранних повестей. В начале своего пути Гоголь ищет прежде всего верные средства создания цельного образа повествователя, воспроизводя особенности его речи, сопровождая и оправдывая ее социальной и психологической мотивировкой. Стилистика «Мертвых душ» усложняется, и образ автора в поэме, подобно тому, как он сложил-

ся в прозе А. С. Пушкина, раскрывается как национальный характер, соотношенный с многообразными социальными проявлениями русской жизни и выступающий в разнообразном языковом воплощении.

Образ автора в «Мертвых душах» складывается прежде всего из противопоставления двух его основных «ликов» — поэта-лирика, отрешенного от жизненной будничности и повседневности, устремленного в далекое будущее (см. лирические отступления в гл. VII и XI), и художника-сатирика, остро разоблачающего окружающую действительность.

Оба «лика» автора имеют свое собственное стилистико-языковое выражение.

В данной статье мы рассмотрим прием сатирического изображения действительности, связанный с изменением сюжетных ролей автора. Он выступает то как участник событий, и его позиция полностью совпадает с позицией персонажей, то как беспристрастный историк, отдавший на суд читателя описываемые события, то как заинтересованный происходящим комментатор. Сказанное можно проиллюстрировать примером начала VIII главы поэмы. К началу событий, описываемых в этой главе, Павел Иванович Чичиков уже объехал окрестных помещиков, купил крестьян «на вывод» и совершил все необходимые формальности: «Известный Иван Антонович управился весьма проворно, крепости были записаны, помечены, занесены в книгу и куда следует, с принятием полупроцентовых и за припечатку в „Ведомостях“» (Н. В. Гоголь. Собрание сочинений в 6 томах, М., 1949, т. 5).

Глава VIII начинается с описания того «резонанса», который имели эти покупки в обществе губернского города N. Языковая организация текста раскрывает сатирический характер этого описания: «Покупки Чичикова сделались предметом разговоров в городе. Пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян». В приведенном отрывке изображаемое получает сатирическое освещение, несмотря на кажущуюся смысловую простоту и стилистическую нейтральность текста. Главное здесь — несовпадение восприятия происходящего чиновниками города и читателем. Чиновники верят (не могут не верить) в реальность происходящего, и отсюда серьезность рассуждений на тему «выгодно ли покупать крестьян на вывод». Читатель же понимает (не может не понимать), что все эти рассуждения абсурдны, поскольку речь идет о мертвых крестьянах Чичикова. Столкновение двух линий в восприятии происходящего, несовпадение в осмыслении сказанного чиновниками и читателем ведет к комическому эффекту. При этом автор не комментирует и не оценивает происходящего, а сообщает читателю, что происходит в городе



*Чиновники губернского города N.
Рисунок П. Боклевского. 1866*

с позиций самих жителей — участников происходящего. Это приводит к тому, что читатель оказывается более осведомленным, чем чиновники и сам автор. Комическое столкновение разного восприятия одного и того же события чиновниками и читателем углубляется, когда приводятся рассуждения чиновников, изложенных в форме прямой и несобственно прямой речи: «...Стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между таким беспокойным народом, каковы крестьяне Чичикова... Многие предложили свои мнения насчет того, как искоренить буйный дух, обуевавший крестьян Чичикова... Почтмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность, что он может сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом, по его выражению;

известн даже благотельное просвещение, и при этом случае отозвался с большою похвалою об Ланкастеровой школе взаимного обучения». Слова самого Чичикова, переданные в форме несобственно прямой речи, еще более усиливают расхождение в осмыслении одного и того же участниками событий и читателем, сатирические краски сгущаются: «За советы Чичиков благодарил, говоря, что при случае не преминет ими воспользоваться, а от конвоя отказался решительно».

Автор берет на себя роль наивного повествователя о происходящем, и это приводит к тому, что читателю предоставляется богатая возможность собственных оценок и осмыслений изображаемого. Но вдруг в повествование вкрадывается краткая и неожиданная реплика: «Впрочем, если сказать правду, они все были народ добрый». И именно оговорка «если сказать правду» заставляет почувствовать присутствие автора — комментатора происходящего, стоящего вне изображаемого и над ним. Сразу же изменяется и сюжетная роль читателя — ему возвращается роль ведомого, автор становится источником сведений, читателю не известных. Таковы характеристики чиновников: «Многие были не без образования... Жили между собой в ладу, обращались совершенно по-приятельски...»; «Почтмейстер вдался более в философию и читал весьма прилежно, даже по почам, Юнговы почти и Ключ к тайнствам натуры Экартсгаузена, из которых делал весьма длинные выписки по целым листам...». И тут же совершенно неожиданное для «всеведующего автора»: «В чем состояли эти выписки и какого рода они были, это никому не было известно». Резко меняется позиция автора, указавшего на свою неосведомленность «в чем состояли эти выписки», и поэтому утверждение («выписки по целым листам») воспринимается читателем как нелепость. В следующей фразе «Впрочем, он был остряк, цветист в словах и любил, как сам выражался, уснащать речь» вновь сталкиваются планы восприятия происходящего: автором-комментатором сообщаются сведения, без него читателю не доступные. Читатель, ранее утвердившийся в мысли о бесполезных и сменных занятиях почтмейстера, тотчас получает дополнительные сведения о том, что в чиновничьей среде это не мешало прослыть ему остряком, то есть человеком, острым на язык.

Автор как сатирик выступает и тогда, когда характеризует речь почтмейстера, любящего украшать её «множеством частиц»: «„судырь ты мой, эдакой какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе представить, относительно так сказать, некоторым образом” и прочими, которые сыпал он мешками». Воспроизведенные автором частицы, которыми «уснащивал» свою речь почтмейстер, играют выразительную стилистическую роль в композиции рассматриваемого отрезка. Они, объективно демонстрируя косноязычие «цветис-



*«Мертвые души»
Рисунок А. Агина. 1846*

того в словах» почтмейстера, подчеркивают сатирический смысл сообщения автора о том, что «почтмейстер вдался более в философию и читал весьма прилежно... Юнговы ночи и Ключ к таинствам натуры Эккартсгаузена». Сатирические краски сгущаются, когда внешне беспристрастно и даже одобрительно автор продолжает: «уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием одного глаза, что все придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намекам». Репликой «тоже довольно удачно» описанию придается пронический смысл.

Но если вернуться к тому, что о почтмейстере было сказано несколько ранее («Почтмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность,.. ввести даже благотворное просвещение, и при этом случае отозвался с большою похвалою об Ланкастеровой школе взаимного обучения»), то еще более проясненными становятся приемы сатирического изображения действительности, составляющие суть стилистики «Мертвых душ». Упоминание о «Ланкастеровой школе взаимного обучения» [Д. Ланкастер (1771—1833) — английский педагог, создал систему взаимного обучения, которая состояла в том, что учитель обучал лучших учеников, а они уже занимались со слабыми] в связи с обсуждением покупки крестьян «на вывод» в устах почтмейстера нелепо само по себе. Если же вспомнить, что речь идет «о крестьянах» Чичикова, то становится ясно, что внешне сочувствующая позиция автора при раскрытии темы почтмейстера объективно превращается в позицию

резко сатирического обличения персонажа и через него — изображаемой среды.

Эффект сатирического изображения усиливается воспроизведением собственной речи чиновников, содержание которой, наложенное на реальный план событий, изнутри раскрывает комизм положения: «„Конечно“, говорили иные: „это так, против этого и спору нет: земли в южных губерниях, точно, хороши и плодородны; но каково будет крестьянам Чичикова без воды? реки ведь нет никакой“.— „Это еще бы ничего, что нет воды, это бы ничего, Степан Дмитриевич, но переселение-то ненадежная вещь...“». Автор в данном случае выступает под «личиною» простодушного повествователя, и на первый план ставится читатель, которому единственно дано объективно разобраться в происходящем.

Указанная роль читателя проявляется и при описании дам города N. Автор прибегает к тому же приему изображения средствами самой среды: «Дамы города N были то, что называют, презентабельны... Что до того, как вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, множество приличий самых тонких, и особенно соблюсти моду в самых последних мелочах, то в этом они опередили даже дам петербургских и московских. Одевались они с большим вкусом... Визитная карточка, будь она написана хоть на трефовой двойке, или бубновом тузе, но вещь была очень священная...» и т. д. Несмотря на то, что средства описания сливаются с речевыми средствами изображаемого мира, слияния сферы повествования со сферами сознания персонажей не происходит. Этому препятствуют реплики автора, вкрапленные в контекст сочувствующего описания: «опередили даже дам петербургских и московских», «визитная карточка, написанная хоть на трефовой двойке, или бубновом тузе», и в последующем тексте: «все можно сделать на свете, одного только нельзя: примирить двух дам, поссорившихся за манкировку визита» и т. д. Возникают мгновенные — появляющиеся и тут же исчезающие, а потом вновь возникающие — несовпадения изображаемого с психологией персонажей. Эти несовпадения дают свободу читателю воспринимать изображенное как раздвоение между тем, что свойственно самим персонажам, и тем, что видит автор-сатирик.

Наблюдения над стилистикой даже небольшого отрезка текста раскрывают сложность поэтического строя «Мертвых душ», в котором в полной мере проявилась личность художника-сатирика — Николая Васильевича Гоголя.

В. Н. ХОХЛАЧЕВА



О НАЗВАНИЯХ ПОВЕСТЕЙ ГОГОЛЯ

Меткость характеристики, емкость слова, пожалуй, самые отличительные черты творчества Н. В. Гоголя, умевшего вложить в одну фразу, даже в одно слово сразу несколько смыслов. Очень характерны в этом отношении названия его произведений.

Заглавие первого гоголевского цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» стоит в ряду традиционных названий «историй, рассказанных там-то» — таков общий тип произведений подобного рода. Для Гоголя характерно точное место — Диканька. Это не просто место, где рассказываются истории, и не только реальное географическое название, но прежде всего символ — сказочное, особое пространство, отделенное от реального мира. Из названий этого цикла особенно интересны «Вечер накануне Ивана Купала» и «Ночь перед Рождеством». Обе повести посвящены истории сделки с нечистой силой, действия их, как показывают заглавия, происходят накануне праздников. Однако характер этих праздников различен. Рождество — праздник христианский, поэтому и история заканчивается счастливо: нечистая сила оказывается посрамленной, а благочестивый кузнец Вакула одолевает чёрта и женится. Иначе — в «Вечере накануне Ивана Купала»: здесь языческий праздник (напомним, что в народном сознании отождествляются христианские демоны и языческие боги). Поэтому сделка Петра Безродного с Басаврюком заканчивается гибелью героя. Таким образом, в заглавиях этих повестей выявляется одна из основных гоголевских оппозиций: христианское — языческое. По названию можно догадаться о развитии художественной мысли. Еще более важно противопоставление заглавий (как и противопоставление самих повестей): оно обнаруживает светлые и темные полюса в художественной системе Гоголя периода «Вечеров».

Интересно название еще одной повести — «Майская ночь, или Утопленница». Вторая часть заглавия опять-таки соотнесена с определенным жанром, условно выражаясь, «фантастико-этнографической» повести (ср. заглавия повестей Ореста Сомова, литератора 20-х годов, повлиявшего на молодого Гоголя, — «Кикимора», «Киевские ведьмы»). У Гоголя эта часть заглавия имеет подчиненный характер. «Майская ночь» — это ночь любви, веселья и т. п. В оформлении заглавия запятая разграничивает две его части. «Майская ночь» и «Утопленница», как бы два ответа на вопрос о причине всех чудес, происходящих на страницах повести (в самой повести неразличение сна и яви и последнее волшебство — записка комиссара, вконец всех запутавшая). Гоголь заставляет читателя решать, что послужило причиной конечного счастья возлюбленных — общая веселая, волшебная атмосфера майской ночи или вмешательство потусторонних сил (утопленница). Думается, что для читателя важнее первое — веселая, светлая, фантастичная, разгульная «Майская ночь». О том, что в заглавии стоит еще «или Утопленница», можно и забыть.

Повести в составе «Вечеров» могут быть поняты лишь в контексте целого. Известный ученый-литературовед Г. А. Гуковский убедительно доказал внутреннее единство этого цикла. Каждая из повестей важна не только сама по себе, но и по ее месту в общем цикле. Одна повесть проясняет и изменяет смысл другой. Любопытно соседство таких заглавий — «Страшная месть» и «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Бытовая интонация второго из них распространяется на первое, и слово *страшная* начинает казаться ироническим, что прямо противоречит смыслу повести. Думается, что это не просчет, а мистификация Гоголя. «Страшная месть» подчеркнуто контрастна счастливым или комическим финалам второй части «Вечеров». Контраст этот ощутим с первых же строк: «Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться». Однако контраст этот очевиден лишь при чтении, после которого заглавие понимается уже по-иному.

Второй сборник — «Миргород». В этом названии соединяются два слова *мир* и *город*. Мир может предстать и серым городишком («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), а может и большим громадным миром («Тарас Бульба»). Следует отметить, что этот важнейший смысл выступает у Гоголя не прямо. Слово *мир* в значении 'целое, универсум' писали по старой орфографии через *і*; слово *Миргород* означает 'тихий, спокойный город'. Так и можно понять сначала название пове-



«Пропавшая грамота». Рисунок В. Маковского

сти. Это подтверждает и подзаголовок — «Повести, служащие продолжением „Вечеров на хуторе близ Диканьки“», и два эпиграфа: «Миргород нарочито невеликий при реке Хороле город. Имеет 1 канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц. *География Забловского*»; «Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны. *Из записок одного путешественника*». Однако сам сборник отрицает такое прочтение: примером тому и повесть «Тарас Бульба» с ее широким обобщением, и знаменитая финальная фраза «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», которую можно считать заключением книги в целом: «Скучно на этом свете, господа!». Значение слова *Миргород* меняется: *мир* — это *город*.

Заглавие третьего сборника — «Арабески» — типично для романтической культуры (арабески — это свободные фантазии на темы прежде всего искусства). В этот сборник вошли три повести: «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего».

«Невский проспект» представляется не как улица, а как явление ложного искусства. Драма художника Пискарева связана с особой атмосферой Петербурга, созданной прежде всего зодчеством.



«Старосветские помещики». Рисунок П. Соколова

«Портрет» по названию тоже произведение об искусстве, однако речь здесь пойдет не просто об искусстве, а об искусстве дьявольском, которое губит все живое. В «Невском проспекте» эта мысль затупевана, а в «Портрете» становится главной. Кроме того, слово *портрет* обладает вполне определенным жанровым значением: это повествование о каком-либо человеке. Название повести можно было понять либо как рассказ о живописи, либо как почти жанровое определение (художественное описание кого-нибудь). Сама повесть может подтвердить оба прочтения — «портрет» и «портрет Чарткова». Кроме того, в повести рассказывается о портрете, как в «Носе» — о носе, в «Коляске» — о коляске, а в «Шинели» — о шинели. Игра трех смыслов очень важна для понимания повести: «портрет» — произведение живописного искусства; литературный жанр и предмет описания. Все эти значения между собой тесно связаны, подобно тому как судьба Чарткова оказывается связанной с судьбой ростовщика и живописца — автора портрета.

«Записки сумасшедшего» сначала были названы «Записками сумасшедшего музыканта». Это предварительное название, таким образом, подключалось к ряду произведений о «романтических энтузиастах». Поприщин — и озлобленный неудачник с

манней величия, и «романтический энтузиаст», отсюда и смехотворность, и величие его притязаний на испанскую корону.

Названия остальных гоголевских повестей несколько проще: «Нос», «Коляска», «Шинель». Первая повесть была опубликована в третьем томе пушкинского «Современника», журнала серьезного и строгого. Название же повести прямо отсылает к «носологической» литературе, которой были свойственны комические приемы. Анализ этой литературы и ее связей с «Носом» был проведен в работе В. В. Виноградова «Натуралистический гротеск (Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос»)». Противоречие традиции, выраженной заголовком повести, и духа журнала было разительным. Чтобы не было заметным это противоречие, потребовались известные замечания издателя (А. С. Пушкина): «Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикой удовольствием, которое доставила нам его рукопись».

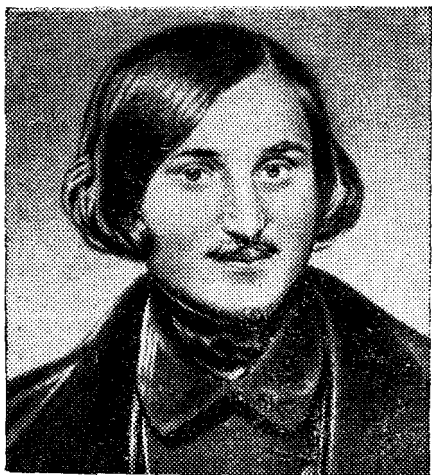
Смысл названия «Коляска» достаточно прост. Герой повести Пифагор Пифагорович Чертокудкий долго и обстоятельно рассказывает генералу и «господам офицерам» о своей, якобы необыкновенной, стоящей четыре тысячи коляске. А коляска оказалась вполне обычной и пригодной лишь для того, чтобы незадачливый герой смог в ней спрятаться. В повести говорится о коляске (прямое понимание названия), но только говорится (второй смысл названия — разоблачение очередной лжи).

Поэтика Гоголя — это система намеков, педомолвок, оговорок и двусмысленностей; смысловая двуплановость заглавий очень важна для верного понимания гоголевского текста. При этом следует учитывать желание Гоголя мистифицировать читателя, нужно не только не поддаваться на «ложный ход», но и обнаружить его смысл. Только внимание к словесной игре позволяет нам приблизиться к мудрому и высокому строю гоголевского творчества.

А. С. НЕМЗЕР

Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного
далека тебя вижу...

Н. В. Гоголь



Николай Васильевич
Гоголь
1809—1852
С портрета Ф. Моллера.
1841 г.

«Из писателей предпочитаю Гоголя; с моей точки зрения, никто не может с ним сравняться...» Так отвечал М. А. Булгаков на вопрос своего друга и будущего биографа Павла Сергеевича Попова. И первые же из известных нам произведений Булгакова показывают, что это предпочтение не было независимым от собственной его творческой работы — напротив, в ней-то настойчивей всего оно и утверждалось, становилось фактом литературным. Его ранние повести и рассказы открыто ориентированы на Гоголя (среди них, например, рассказ «Похождения Чичикова», напечатанный 24 сентября 1922 года в газете «Накануне»).

Тесное сближение с Гоголем не осталось чертою только раннего периода. Литературная биография Булгакова сложилась так, что начиная с мая 1930 года и в течение последующих пяти лет, работая во МХАТе, он пишет инсценировку «Мертвых душ» (для МХАТа же), киносценарий по поэме и, наконец, киносценарий по «Ревизору».

Эта работа, прошедшая много этапов, стала неотторжимой частью творческой жизни Булгакова и отразилась в его последних романах.

Задача сценической интерпретации «Мертвых душ» встала перед Булгаковым неожиданно, в силу внешних обстоятельств, но решалась она писателем так, словно всю жизнь он готовился к этой работе. Первые же строки рукописи (в большой «Записной книге», куда полгода назад Булгаков заносил выписки из источников для «Кабалы святош»; она хранится ныне в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, фонд 562) запечатлели момент неожиданного и блестящего поворота темы:

«Человек пишет в Италии!
в Риме (!). Гитары. Солнце.
Макароны»,

БУЛГАКОВ

и

ГОГОЛЬ

*Михаил Афанасьевич
Булгаков
1891—1940
Фотография.
1930-е годы*



Итак, решение начать с Италии явилось сразу, прежде всякого материала. Оно основывалось на самом общем, ходячем, но оттого не менее ярком и заразительном представлении об Италии («Гитары. Солнце. Макароны») и на чрезвычайно увлекавшей Булгакова мысли о писателе, пишущем о России, глядя на нее из «прекрасного далека».

Вслед за этим решением естественным образом должен он был обратиться к воспоминаниям П. В. Анненкова «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года»: сразу после первых строк наброска выписаны даты рождения и смерти мемуариста и дата приезда его в Рим, несомненно почерпнутая из этих воспоминаний. Прочитаны были и письма Гоголя из Рима (в «Записной книге» есть выписки из писем С. Т. Аксакову, П. А. Плетневу, А. С. Данилевскому), среди прочих, вероятно, и письмо к Плетневу от 2 ноября 1837 года, где упоминание Гоголя Италией весьма близко к тому, что пытается передать первыми набросками Булгаков: «Что за земля Италия! Никаким образом не можете вы ее представить себе. О, если бы вы взглянули только на это небо, все тонущее в сиянии! <...> Когда вам все изменит, когда вам больше ничего не останется такого, что привязало бы вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию. Нет лучшей участи, как умереть в Риме: целой верстой здесь человек ближе к божеству».

Вероятно, сцена чтения Гоголем «Мертвых душ», описанная Анненковым, натолкнула Булгакова на мысль ввести в инсценировку Гоголя-чтеца и дать в ней место тому, кто оставил нам это замечательное описание: на первом же листе появились две первые роли — «Великий чтец» и «Поклонник». Некоторое влияние на появление второй роли могла оказать, как кажется, и краткая, но, как обычно, очень емкая, с афористическими характеристиками статья Б. М. Эйхенбаума «Павел Васильевич Анненков», помещенная в издании «Литературных воспоминаний» Анненкова (Л., 1928), которым, скорее всего, и пользовался Булгаков.

Первый набросок — целиком из материала анненковских воспоминаний.

«Картина 1.

Мозаичный пол. Бюро. Римская масляная лампа (древняя). Книжный шкаф. Узкий соломенный диван. Графин с холодной водой. Солнце. Ставни. Крик женщины — Ессо, ladrone.

Великий чтец.

Поклонник».

Во втором, более расширенном варианте картины, уже начата первая сцена. Реплики чтеца здесь целиком из письма Гоголя Плетневу из Рима от 30 октября 1840 года.

«Чтец — худой человек с неопрятными длинными волосами, острым [птичьим] длинным носом, неприятными глазами, со странными ухватками, очень нервный человек. Пьет воду.

Поклонник (робко). Что это вы, Николай Васильевич, все воду пьете?

Чтец (таинственно). Геммороид мне бросился на грудь и нервическое раздражение...

Покл[онник] (смотрит, открыв рот).

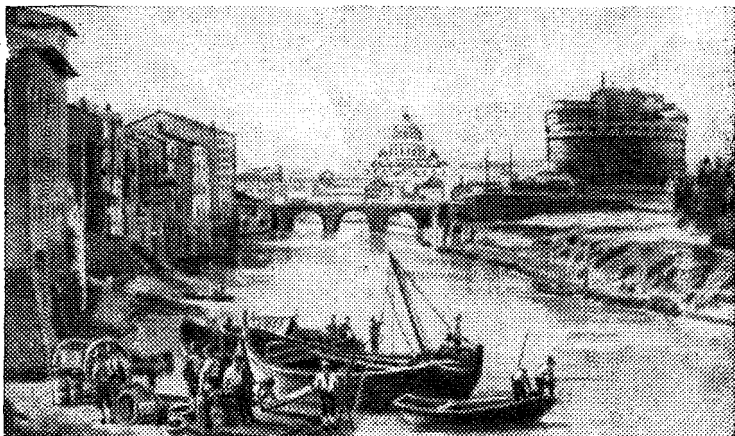
Чтец. Облегчение приписываю я холодной воде, которую стал я пить...»

Работа над инсценировкой совместно с В. Сахновским, режиссером-постановщиком «Мертвых душ», шла, видимо, с большими перерывами и внешними затруднениями. 7 июля 1930 года, то есть менее чем через два месяца после начала работы над инсценировкой, худсовет МХАТа обсуждает режиссерский план спектакля и принимает его. «Рим мой был уничтожен, лишь только я доложил ехрорé,— спустя два года писал Булгаков П. С. Попову.— И Рима моего мне безумно жаль!».

Новые наброски в «Записной книге» датированы сентябрем 1930 года. Уже нет Рима; вместо Великого чтеца и его Поклонника на сцене остается просто Чтец, роль коего сведена до минимума, он дает только нечто вроде биографической справки о появляющемся вслед за этим Чичикове.

Обратимся вновь к письму Булгакова Попову, ответу на письмо Попова от 2 мая 1932 года, в котором тот спрашивал: «...Как вы это сделали, ведь резать вы не могли же?» (Институт русской литературы АН СССР, ф. 369). «Именно, Павел Сергеевич, резать! — отвечал Булгаков. — И только резать! И я разнес всю поэму по камням. Буквально в клочья. Картина 1 (или пролог) происходит в трактире в Петербурге или в Москве, где секретарь Опекунского совета дал случайно Чичикову мысль покойников купить и заложить (Загляните в т. I, гл. XI). Поехал Чичиков покупать. И совсем не в том порядке, как в поэме. <...> Текст сплошь и рядом передан в другие уста, совсем не в те, что в поэме, и так далее» (Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, фонд 218). Как видим, Булгаков подходил к тексту поэмы вольно и смело.

К двадцатым числам ноября 1930 года весь текст инсценировки «в 12 картинах с прологом» был закончен. 2 декабря в театре проходит первая репетиция пьесы. Вскоре К. С. Станиславский сделал замечания к тексту, и Булгакову пришлось обратиться к инсценировке вновь. В Музее МХАТа сохранились два больших листа текста, написанного рукой Булгакова и озаглавленного: «Мертвые души. Роль Первого в спектакле».



Рим. С картины С. Щедрина

Это беловой, без помарок, автограф. Он представляет собой текст, составленный из разных отрывков прозы Гоголя, переоформленных Булгаковым и скомпонованных им в некое целостное повествование — монолог Первого (то есть ведущего, начинающего спектакль), обращенный им к Риму.

«Первый (выходит в плаще на закате солнца). <...> И я глянул на Рим в час захождения солнца и предо мною в сияющей панораме предстал вечный город!

Вся светлая груда куполов и остроконечий сильно освещена блеском принизившегося солнца. Одна за другой выходят крыши, статуи, воздушные террасы и галлерей. Пестрит и разыгрывается масса тонкими верхушками колоколен с узорной капризностью фонарей и, вот он, вот он, выходит плоский купол Пантеона, а там за ним далее поля превращаются в пламя подобно небу.

О, Рим!

Солнце спускается ниже к земле. Живее и ближе становится город, темней чернеют пины, готов погаснуть небесный воздух.

О, Рим!

И вот, вечер в тебе устанавливает свой темный образ! И над развалинами огнистыми фонтанами поднимаются светящиеся мухи, и неуклюжее крылатое насекомое, несущееся стоймя, как человек, ударяется без толку мне в ноги.

О, ночь, о, ночь! Небесное пространство! Луна красавица моя старинная, моя верная любовница, что глядишь на меня с такою думою? Зачем так любовно и умильно нежишь меня в час, когда Рим полон благоуханием роз и тех цветов, название которых я позабыл. Я зажигаю лампу, при свете которой писали древние консулы, но мне чудится, что это фонарь, и будочник, накрывшись рогожею, лишь только ночь упадет на камни и улицы, карабкается на лестницу, чтобы зажечь его.

Ах, дальше, дальше от фонаря! И скорее, сколько можно скорее проходите мимо. Это счастье еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской скюртук ваш вонючим своим маслом.

И он и все вокруг него дышит обманом! Он обманывает меня, это не *Via Felice*, я вижу Невский проспект. Ты, проспект, ты тоже лжешь во всякое время! Но более всего тогда, когда сгущенной массой наляжет на тебя ночь и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет...» (не закончено).

Булгаков стремился сохранить в прологе представление о том, что «Мертвые души» писаны в Риме. Он старался к тому же составить этот монолог так, чтобы в нем не было ничего «не гоголевского». Первый абзац и почти весь второй — это переделанный и сокращенный конец «Рима»: «Но здесь князь взглянул на Рим и остановился: пред ним в чудной сияющей панораме предстал вечный город. Вся светлая гряда домов, церквей, куполов, острокопечий сильно освещена была блеском понизившегося солнца. Группами и поодиночке один из-за другого выходили дома, крыши, статуи, воздушные террасы и галереи; там пестрела и разыгрывалась масса тонкими верхушками колоколен и куполов с узорною капризностью фонарей; там выходил целиком темный дворец; там плоский купол Пантеона...» Далее использована фраза из середины «Рима»: «Нигде, никогда ему не случилось видеть, чтобы поле превращалось в пламя, подобно небу». И снова — конец «Рима», и видно, как стягивает Булгаков гоголевскую фразу, как убыстряет ее движение: «Солнце опускалось ниже к земле; румянее и жарче стал блеск его на всей архитектурной массе; еще живей и ближе сделался город; еще темней зачернели нишны; еще голубее и фосфорнее стали горы; еще торжественней и лучше готовый погаснуть небесный воздух...» Еще несколько фраз из «Рима» (у Гоголя: «везде устанавливал свой темный образ вечер»), а дальше использована подробность, взятая из воспоминаний Анненкова: «Гоголь зажигал итальянскую свою лампу об одном рожке, не дававшую света даже столько, сколько дает порядочный почпик, но имевшую достоинство напоминать, что при таких топоч лампах работали и веселились древние консулы, сенаторы и проч». На выбор материала для монолога Первого повлияло, возможно, и описанное мемуаристом особенное восприятие Гоголем вечернего Рима: «Особенно вечером, при закате, когда длиннее и гуще ложатся на землю тени гробниц и водопроводов, картина эта приобретает строгое, художественное величие, почти всегда производившее на Гоголя непостижимое действие: на него ниспадал род нравственного столбняка, который он сам изобразил в статье „Рим“ этими чудными чертами...».

Дальше в тексте Булгакова — перифразированные отрывки из «Невского проспекта» («Но как только сумерки упадут на дома и улицы и будочник, пакрывшись рогожею, вскарабается на лестницу зажигать фонарь...» и др.). А восклицания «О. Рим!», которыми перемежаются абзацы, соответствуют тем восклицаниям, которые разбросаны по многим письмам Гоголя: «Боже, боже, боже! о мой Рим. Прекрасный мой, чудесный Рим» (письмо к Плетневу от 27 сентября 1839 года из Москвы); «О. Рим мой, о мой Рим! — Ничего я не в силах сказать... Но если б меня туда перенесло теперь, боже, как бы освежилась душа моя! Но как, где найти средства!» (письмо Жуковскому в январе 1840 года из Москвы).

Монолог формировался, таким образом, из разных произведений, с переменою третьего лица на первое, с синтаксическими упрощениями, с включениями небольших частей собственного текста и т. д.

Роль Первого в этом ее виде в спектакль так и не вошла. Однако она нашла отражение в собственной прозе Булгакова — в романе «Мастер и Маргарита». Вспомним, как *«На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве»* находились двое, как им *«город был виден почти до самых краев»* и как *«Воланд не отрываясь смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом лачуг»* (а в другом временном и пространственном плане романа перед прокуратором разворачивается *«весь ненавистный ему Ершалаим с тысячами мостами, крепостями...»*). И в предпоследней главе романа Воланд и его свита сидят *«на черных конях в седлах, глядя на раскинувшийся за рекою город с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на пряничные башни Девичьего монастыря»*. В последней рукописной редакции романа (предшествовавшей машинописному его тексту) описание города еще пространнее и еще ближе к монологу Первого: *«Кони стояли на холме Воробьевых гор. У ног лежала река, за рекой пряничные башни монастыря, а дальше бесконечный, невероятный город, скопление кирпичных глыб, без конца, без края испещренных ослепительными пятнами, осколками солнца, низко сидящего на западе, выжигающего окна в верхних этажах»* (Государ. библиотека СССР им. В. И. Ленина, ф. 562).

Позиция созерцания широкой панорамы громадного города, в разных вариантах прошедшая через весь роман и через все его редакции, зародилась, как можно думать, во время вчитывания в гоголевский «Рим» и работы над повествованием «в духе» Гоголя. Но элегическая тема *прощания* с городом, столь сильная в «Мастере и Маргарите», казалось бы, не связана с «Римом». Однако и она находит себе параллели в гоголевских текстах, освоенных Булгаковым — инсценировщиком «Мертвых душ». Вот конец одного из вариантов инсценировки: *«Первый. <...> О, жизнь! Сначала он не чувствовал ничего и поглядывал только назад, желая увериться, точно ли выехал из города. И увидел, что город давно уже скрылся. Ни кузниц, ни мельниц, ни всего того, что находится вокруг городов, не было видно. И даже белые верхушки каменных церквей давно ушли в землю. И город как будто не бывал в памяти, как будто проезжал его давно, в детстве.*

О дорога, дорога!..

Занавес».

Здесь гоголевский текст сохранен почти в неприкосновенности, по разбит Булгаковым, по обыкновению, на более короткие фразы. И именно *этот* текст прямым образом отразился в последних фразах 31-й главы «Мастера и Маргариты», в которой Мастер навеки прощается с городом: *«Когда на мгновение черный покров отнесло в сторону, Маргарита на скаку обернулась и увидела, что сзади нет не только разноцветных башен с разворачивающимся над ними аэропланом, но нет уже давно и самого города, который ушел в землю и оставил по себе только туман»*. (Отметим здесь же, что связь с Римом, ведущая к апокалиптическим и эсхатологическим толкованиям, прямо устанавливается репликой Азazelло: «Мессир, мне больше нравится Рим!»).

Пролистаем несколько страниц поэмы Гоголя назад — к самому моменту выезда Чичикова из ворот гостиницы: «С каким-то неопределенным чувством глядел он на дома, стены, забор и улицы, которые также с своей стороны, как будто подсакивая, медленно уходили назад и которые, бог знает, судила ли ему участь увидеть еще когда-либо в продолжение своей жизни». Это «неопределенное чувство», уточненное и уточненное Булгаковым, владеет и Мастером: «Мастер стал смотреть на город. В первые мгновения к сердцу подкралась щемящая грусть, но очень быстро она сменилась сладковатой тревогой, бродячим цыганским волнением.

— Навсегда! Это надо осмыслить, — прошептал мастер...

Итак, обнаруживается зараженность ряда эпизодов «Мастера и Маргариты» гоголевскими мотивами, теми, которые привлекли особое внимание Булгакова во время его работы над инсценировкой «Мертвых душ».

В 1934 году, работая параллельно над завершением первой полной редакции романа «Мастер и Маргарита» (тогда еще не имевшего этого названия), Булгаков вновь обращается к Гоголю — пишет один за другим киносценарии «Мертвых душ» и «Ревизора».

Задача, вставшая перед ним, была отлична от задач театральной инсценировки. Иными были и средства, которыми она решалась. Работая над сценарием («Мертвых душ»), Булгаков искал в прозе Гоголя возможности прямой изобразительности там, где их никто еще, кажется, не обнаруживал. С соревновательной дерзостью он распространил знаменитые гоголевские сравнения, вторая часть которых нередко приобретает значение самостоятельное, в целые сцены: так, из эпизода, где Ноздрев, наступая на Чичикова, «выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика», сделана была большая сцена с осадой крепости суворовскими солдатами, с дымом, залпами и проч. Из покупки у Собакевича мертвых душ явилась дополнительно сцена панихиды в имении Собакевича, а упоминание о том, что капитан Копейкин стал атаманом шайки, развернулось в цепь картин — схватки разбойников Копейкина с городским гарнизоном, пожаров в городе, Копейкина, восседающего «среди пожарниц, в губернаторском кресле во дворе. Вокруг него знамена; священник с крестом в руке. Тьма разбойников.

Тшатт связанного полицеймейстера, председателя и прокурора. Капитан встречает их страшным взглядом...».

К сожалению, Булгаков не встретил взаимопонимания у заказчиков (то есть на кинофабрике). «Все, что больше всего мне нравилось, то есть сцена суворовских солдат посреди Ноздревской сцены, отдельная большая баллада о капитане Копейкине, панихида в имении Собакевича, и самое главное, *Рим с силуэтом на балконе* — все это подверглось полному разгрому! Удастся сохранить только Копейкина, и то сузив его. Но — боже! — до чего мне жаль *Рима!*» — пишет он П. С. Попову 10 июля 1934 года.

Материалы архива писателя показывают, что, сдав в середине июля первую редакцию сценария «Мертвых душ», он берется за роман, покинутый им еще в феврале 1934 года, три дня работает над ним и вновь бросает почти на месяц. На другой день после сдачи третьей редакции сценария, 13 августа, он опять подступает к роману и снова оставляет его на целый месяц, занявшись «Ревизором». Наконец, 10 сентября, на время отложив «Ревизора» (или, может быть, делая сценарий понемногу), Булгаков возвра-

щается к роману и работает над ним более или менее регулярно весь сентябрь.

Вечером 15 октября 1934 года Булгаков заканчивает первую редакцию «Ревизора», и в эти же, видимо, дни завершает третью (первую полную) редакцию романа наброском заключительной главы «Последний путь».

Параллельная работа над произведениями Гоголя и собственным замыслом дала весьма знаменательные результаты. В тетради дополнений романа, начатой 30 октября 1934 года, появился странно знакомый герой: в комнату Иванушки в психиатрической лечебнице с балкона, «ступая на цыпочках, вошел человек лет 35-ти примерно, худой и бритый, блондин с висящим клоком волос и с острыми птичьим носом». И эта последняя черта заставляет узнать в ночном госте того самого человека, который стоит на балконе с 1930 еще года, которому, к печали Булгакова, никак не отыскивается места в составляемых им сценариях.

*

Вернемся на год назад. 2 августа 1933 года Булгаков писал В. В. Вересаеву: «...Просидел две ночи над Вашим Гоголем! Боже! Какая фигура! Какая личность!» (Архив Музея МХАТа). Речь шла, по-видимому, о только что вышедшей книге Вересаева «Гоголь в жизни», представляющей свод материалов о Гоголе (писем, воспоминаний, выдержек из дневников современников). В восклицаниях Булгакова — не восхищение творениями Гоголя, а интерес к самой личности.

Сразу вслед за этим Булгаков сообщал: «В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатах, я стал мазать страничку за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман».

Не входя в детали творческой истории романа «Мастер и Маргарита», а именно о нем идет речь в письме к Вересаеву, укажем только, что как раз в это время, в августе 1933 года, в наброске плана в роман входит новый герой — «поэт» — творец, художник, автор романа о Иешуа Га Ноцри, до этого в черновиках романа не встречавшийся.

А через год в рукописях Булгакова возникает мотив сумасшествия Мастера, появляющегося с балкона перед Иванушкой.

Так или иначе, именно в 1932—1934 годы, в годы внимательнейшего изучения Булгаковым творчества Гоголя и размышлений над его личностью, в собственном романе Булгакова сформировалась фигура того героя, который вскоре стал ровнен с героями новозаветных глав (вокруг которых и концентрировался первоначальный замысел романа), был назван Мастером и объявился, наконец, в самом заглавии романа. И можно видеть в Мастере нечто от личности и судьбы того, кого Булгаков называл «великим учителем».

Мастер — не литератор, не профессионал, но весь поглощен одною целью — написать роман, и в этом смысле весьма близок к Гоголю последних десяти-двенадцати лет, времени работы над первым и особенно вторым томом «Мертвых душ». Слова Гоголя: «Не знал я, какими путями поведет меня провидение, как отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной и как умру я надолго для всего того, что шевелит современного человека» кажутся определятельными для поведения Мастера. Отношение Гоголя к «Мертвым душам», как к откровению, близко, как

можно догадываться, к самоощущению Мастера, о котором умолчено в романе Булгакова, но которое восстанавливается по деталям рассказа Мастера о его работе над романом о Пилате и из восклицания «О, как я все угадал!», выдающего его взгляд на свой труд как на постижение истины.

Мастер, подобно Гоголю, был *историком*, прежде чем стал писать роман; он тоже заболевает — в отличие от Гоголя, *успев* завершить свой труд. Так же, как Гоголь, он много говорит о своей болезни. Восклицание Мастера: «Да, хуже моей болезни в этом здании нет, уверяю вас!» очень близко к давней убежденности в особенной своей болезни Гоголя.

Но главное — сам акт сожжения романа. Мы уверены, что этот фрагмент фабулы «Мастера и Маргариты» обязан своим зарождением напряженным размышлениям Булгакова-писателя и Булгакова-врача над загадкой трагического финала жизни Гоголя. Сцена сожжения — едва ли не медицинский протокол, клинический анализ того состояния, в котором такой акт производится. И это некая возможная интерпретация — не мистическая, а сугубо рациональная — состояния Гоголя, каким восстанавливается оно по скудным свидетельствам современников. «Я лег заболевающим, а проснулся больным. (...) Я встал человеком, который уже не владеет собой. Я вскрикнул, и у меня явилась мысль бежать к кому-то, хотя бы к моему застройщику наверх. Я боролся с собою как безумный. У меня хватило сил добраться до печки и разжечь в ней дрова. Когда они затрещали и дверца застучала, мне как будто стало немного легче». Нельзя не увидеть, что само описание сожжения романа — в прямой зависимости от картины, нарисованной М. П. Погодиным: «Когда портфель был принесен, он *вынул оттуда связку тетрадей*, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук (...) Между тем огонь погасал после того как обгорели углы у тетрадей (...) Он *развязал тесемку и уложил листы так*, чтобы легче было припиться огню». У Булгакова: «Я *вынул из ящичка тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь*. Это страшно трудно делать, потому что исписанная бумага горит неохотно. Ломая ногти, я *раздирал тетради, стоямя вкладывая их между поленьями и кочергой* трепал листы». Мастер сжигает роман после двух часов ночи; Гоголь — «часа в три» (письмо Н. Ф. Павлова от 1 марта 1852 года.)

И в неожиданном ночном появлении Маргариты, выхватывающей из огня последнюю тетрадку, можно увидеть попытку художественного «изживания» представления об одиночестве Гоголя, сжигающего свою рукопись на глазах у одного лишь бессильного помешать ему и только горько плачущего мальчика. «Зачем, зачем я не оставила у себя один экземпляр?» — это горестное восклицание происхождением своим отчасти обязано, как кажется, истории, рассказанной Д. А. Оболенским А. В. Никитенко и сохранившейся в дневнике последнего: «Однажды приходит к нему граф А. П. Толстой, с которым он был постоянно в дружбе. Гоголь сказал ему: „Пожалуйста, возьми эти тетради и спрячь их. На меня находят часы, когда все это хочется сжечь. Но мне самому было бы жаль. Тут, кажется, есть кое-что хорошего“. Граф Толстой из ложной деликатности не согласился». Сравним также записанный А. Т. Тарасенковым разговор А. П. Толстого с Гоголем после сожжения рукописей: «Ведь вы можете все припомнить? — Да, — отвечал Гоголь, положив руку на лоб, — могу, могу; у меня все это в голове» —



*Гоголь сжигает второй том «Мертвых душ»
С гравюры 1892 года, выполненной по рисунку М. Клодта*

и реплику Мастера перед вторичным сожжением романа: «...я помню его наизусть».

Казалось бы, известен более близкий источник — сожжение самим Булгаковым первой редакции своего романа. Однако оно, по устным воспоминаниям Е. С. Булгаковой (иных же не сохранилось), происходило в совсем других условиях, в то время, когда Булгаков диктовал на машинку весьма важное письмо с просьбою

изменить его судьбу, в состоянии возбуждения, но вместе с тем в трезвом и ясном сознании своих поступков. Так, тетради первой редакции не были уничтожены полностью, сохранялась часть каждого листа, прилегающая к корешку, для того, чтобы «остались доказательства» существования романа. Нет, образец для сцены сожжения романа Мастера был иной, не автобиографический. Таким образом, не столько это сожжение служит автобиографическим источником последних редакций романа, сколько само оно имеет, кажется, литературный источник.

Хотелось бы предостеречь нашего читателя от плоского вычитывания в истории Мастера судьбы Гоголя. Говорить утвердительно можно, пожалуй, лишь следующее. Начиная с 1930 года в работе Булгакова возникает новая, до тех пор не встречавшаяся тема — судьба и личность художника. Эта тема разворачивается в наброске первой редакции «Театрального романа» (1929), в пьесе и романе о Мольере (1929—1932). В идущей параллельно работе над Гоголем Булгаков снова и снова обращается к тому же, он стремится показать саму фигуру творящего и самый процесс создания его произведений. Можно утверждать также, что многолетний и напряженный интерес Булгакова к Гоголю с годами породил навязчивый зрительный облик, который Булгаков упорно изживал в слове.

Облик Гоголя встречается в рукописях писателя начиная с пнсценировки 1930 года. И в последней по времени работе этого рода в одной из редакций киносценария по «Ревизору» («редакции с кукольным театром»), законченной 28 февраля 1935 года, Булгаков еще раз делает эту попытку. «Ночь. Опять возникает Петербург, и в нем начинают показываться ночные огни.

Один из огней — за Невой — начинает разрастаться, и вот перед нами камин в безотрадной комнате. В камине догорают дрова. Перед камином — стол и кресло. В этом кресле, почти совсем спиной к зрителю, сидит, сгорбившись, человек. Длинные и жидкие пряди волос. Тень на стене показывает его профиль, длинный, острый нос. (...)

Он начинает видеть сон. В камине тлеют последние уголья. Спящего поглощает тьма.

В мрачной комнате вдруг вспыхивают масляные лампы, обрамляющие зеркальную витрину магазина, и в этой витрине показались ярче, раскрашенные куклы.

Куклы оживают, возникает фигура городничего, купцов, выстраиваются игрушечные их лавки, городничий чинит расправу над своими подонечными, потом садится в кресло, засыпает и в той же самой витрине появляются две жирных черных крысы, которые сняты городничему. Гарнизонная команда дает залп, витрина гаснет и исчезает, и тогда просыпается человек, спавший у камина. В камине чуть тлеет огонь. Человек щипцами шевелит в камине угли, комната освещается ярче, человек наклоняется, поднимает упавшее гусиное перо, берет бумагу, начинает писать». На листе бумаги появляется первая реплика городничего...

Две эти линии, изображение художника и изображение Гоголя, шедшие до поры до времени в творчестве Булгакова параллельно, в середине 1930-х годов сошлись в фигуре Мастера.

Окончание следует

М. О. ЧУДАКОВА



ГОГОЛЬ

В

МОСКВЕ

МЕЧТА была о Петербурге. Только о Петербурге. В стенах Нежинского лицея, еще не определив для себя род деятельности, которым будет заниматься, — литература стояла на последнем месте по сравнению с государственной службой, живописью и сценой, — Гоголь рисует себе картину своей комнаты окнами на Неву, своих прогулок по петербургским улицам. И когда, наконец, ему удастся вырваться в столицу, он выбирает пусть более дальний, но зато в обход Москвы путь — так не хочется впечатлениями от Москвы мешать радости долгожданной встречи с дитим Петра.

Пройдет еще несколько лет поисков, разочарований и первых успехов, пока появится возможность съездить в родные полтавские места, а вместе с ними навестить и Москву. К этому времени Гоголь успел пройти серьезную выучку в классах Академии художеств, безнадежно провалиться при попытке поступить актером на казенную сцену, попробовать горький хлеб домашнего учителя, сделать первые шаги на чиновничьем поприще и (этим определилась дальнейшая его судьба) издать первую часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

В июне 1832 года Гоголь первый раз в Москве. Во всем городе у него единственный знакомый — встречавшийся с ним в Петербурге М. П. Погодин, благодаря которому в старой столице все уже знают, кто скрывался под именем Рудого Панька. Московское лето было дождливым и на удивление холодным. В домах топили печи, а сквозь пелену низко нависших облаков неделями не проглядывало ясное небо — чего так боялся и не любил уроженец Малороссии. Но то, что угнетало на невских берегах, остается словно незамеченным в Москве: таким восторженно-радушным был прием москвичей.

Ничем не приметный двухэтажный особнячок в Большом Афанасьевском переулке (ул. Мясковского, 12. — Далее в скобках будет указываться современный адрес памятных мест, связанных с именем Гоголя). Обычная «аксаковская суббота», когда у гостеприимного хозяина собиралась главным образом театральная и музыкальная Москва. В тесную комнату мезонина, где расположились за карточным столом гости, входит Погодин с пе-



знакомым молодым человеком: «Вот вам Николай Васильевич Гоголь!». «Эффект был сильный», — писал в своих воспоминаниях С. Т. Аксаков. И с тех пор где бы ни жили Аксаковы — материальные затруднения заставляли разрастающуюся семью постоянно менять адреса, — Гоголь у них как дома...

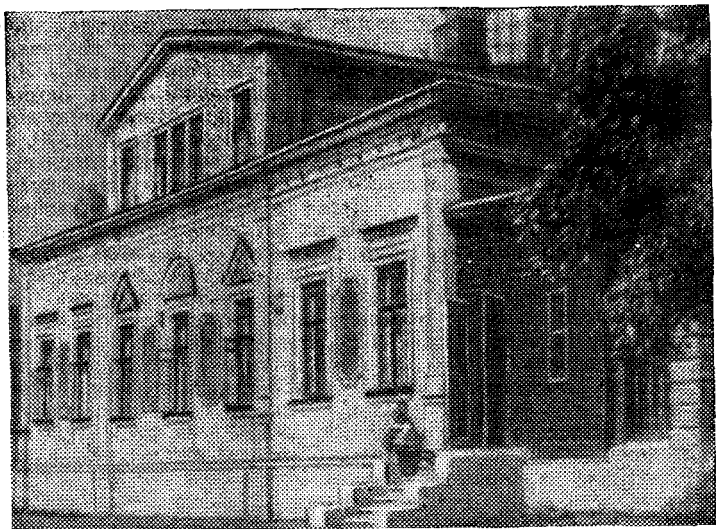
«У Красных ворот, в республике, привольной науке, сердцу, уму», как называли дом племянницы В. А. Жуковского Авдотьи Петровны Елагиной, помещавшийся в Трехсвятительском тупике (Хормный тупик, 4), Гоголь находит других очень близких ему друзей. Братьев Киреевских, сыновей А. П. Елагиной от первого брака, соединили с ним и литературные вкусы и, особенно, увлечение народными песнями, которые собирает П. В. Киреевский. А среди гостей елагинского дома бывали А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский, П. А. Вяземский, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Т. Н. Грановский, П. Я. Чаадаев, жил здесь поэт Н. М. Языков.

Теперь уже безо всякого провожатого обычно стеснительный Гоголь направляется к М. С. Щепкину в Большой Спасский переулок (ул. Ермоловой, 16). В щепкинском доме, как всегда, полно гостей, за обеденным столом без малого тридцать человек, и Гоголь приветствует недоумевающего хозяина украинской песней: «Ходит гарбуз по городу, пытается своего роду». «Недоумение скоро разъяснилось, — записывает в своих воспоминаниях сын великого актера, — нашим гостем был Н(иколай) В(асильевич) Гоголь».

Представляется молодой писатель и патриарх русской поэзии И. И. Дмитриеву. У Дмитриева на старой Спиридоновке (ныне территория дома № 17 по ул. Алексея Толстого) всё поражало воображение: дом из поставленных стоймя и скovaných железными обручами бревен — по проекту любимого Москвой архитектора А. Л. Витберга, сад со множеством растений, которые хозяин выписывал, кажется, из всех уголков земного шара. Хозяин, маститый поэт, с необычайной благожелательностью приветствовал каждое новое литературное дарование. Это И. И. Дмитриеву Гоголь напишет по выезде из старой столицы: «Минувши заставу и оглянувшись на исчезающую Москву, я почувствовал грусть. Мысль, что все прекрасное и радостное мгновенно, не оставляла меня до тех пор, пока не присоединилась к ней другая, что через три или четыре месяца я снова увижусь с вами».

Надежды не оправдались. Гоголь окажется в Москве только спустя почти три года. Но эти годы будут заполнены воспоминаниями о полюбившемся городе, творческими импульсами, в нем полученными. «Я помещался на комедии, — признается писатель в одном из писем. — Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей... и сколько злости, смеху, соли!» Вышедшие за то же время гоголевские произведения в Петербурге подверглись резким нападкам критики...

Зато Москва по-прежнему полна сочувствия и уважения к любимому писателю. Здесь работает В. Г. Белинский, первым определивший в своих статьях подлинное значение Гоголя для русской литературы. В Москву Гоголь привозит в 1835 году первый вариант «Женитьбы» — «Женихов», которых читает у Погодина, Дмитриева и у Аксаковых. В аксаковском доме (Красноворотский пер., 3) среди других гостей писателя слушали В. Г. Белинский и Н. В. Станкевич. А о том, как умел читать Гоголь, вспоминал Щепкин: «Подобного комика не видал и не увижу! Вот... высокий образец художника, вот у кого учиться!» Замечательному актеру



Дом М. П. Погодина на Девичьем поле

вторит Погодин: «Какая истина, остроумие! Какие чиновники на сцене, какие канцелярские служители, помещики, барыни! Талант первоклассный».

Неудача с петербургской постановкой «Ревизора», цензурные осложнения, отрицательное отношение официальной критики ускорили в 1836 году отъезд Гоголя за границу. Писатель отказывается приехать на премьеру своей пьесы в Москве, куда усиленно зовет его Щепкин. И это при том, что сам он признается в письме Погодину: «Не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицу... Москва больше расположена ко мне... Сердце мое в эту минуту наполнено благодарностью к ней за ее внимание ко мне».

8 октября 1839 года Гоголь возвращается из своей заграничной поездки прямо в Москву. Он приезжает сюда из Вены вместе с Погодиным, и Погодин пишет о первых впечатлениях: «Гоголю обрадовались в Москве без памяти».

У писателя теперь как будто свой, бесконечно полюбившийся ему дом — в недавно приобретенном загородном владении Щербатовых на Девичьем поле Погодин предоставляет в его распоряжение большую комнату в мезонине с окнами в густо заросший сад, всю уставленную книжными шкафами и предметами коллекции. В погодинском собрании есть и старопечатные книги, и рукописи, и гравюры, и лубки, и автографы многих исторических деятелей, начиная с Петра I, и монеты, и оружие. Гоголь с наслаждением работает здесь в утренние часы, отдавая послеобеденное время встречам со все более многочисленными друзьями. В огромном по-

годинском саду он устраивает празднования «Николина дня» — 9 мая, на которые собиралась вся литературная и театральная Москва. В 1840 году в этот день среди гостей Гоголя были П. Я. Чаадаев, декабрист М. Ф. Орлов, П. А. Вяземский, М. Н. Загоскин, гравер Ф. И. Иордан, весь цвет московской драматической сцены — Щепкин, Садовский, Живокини, Ленский. Был здесь и М. Ю. Лермонтов, читавший свою поэму «Мцыри». Впечатление, произведенное поэтом на Гоголя, оказалось так велико, что на следующий день Гоголь встречается с Лермонтовым в доме Свербеевых (Страстной бульвар, 6), и беседа их затягивается далеко за полночь. «Великий живописец русского быта» — отвечает о Лермонтове писатель, добавив свои известные слова о «правильной, прекрасной и благоуханной прозе» вскоре погибшего поэта.

Гоголь по-прежнему охотно и часто соглашается читать свои новые произведения. Особенно приятен и близок ему дом Аксаковых (Смоленская-Сенная, 27), всем своим укладом напоминавший деревенский патриархальный быт. В гостиной целыми днями не переставал кипеть поджидавший все новых и новых гостей самовар, обеденный стол накрывался не меньше, чем на 20 «кувертов», большой сад заставлял забывать о городе. У Аксаковых Гоголь читает главы из еще не законченной первой части «Мертвых душ», а в январе 1840 года — «Аннуциату». Он повторяет те же произведения у Киреевских и Елагиных, в частности, отрывки из «Мертвых душ» — специально для приехавшего В. А. Жуковского, а у Чертковых на Мясницкой (ул. Кирова, 7) — «Тяжбу». Гоголю удается удовлетворить и свою неизменную тягу к музыке. В эти месяцы он близко знакомится с Верстовским, становится постоянным гостем его дома в Староконюшенном переулке, и с Гурилевым, дававшим уроки сестре писателя Анне.

18 мая 1840 года Гоголь вновь оставил Москву, напоследок поклонившись любимому городу с Поклонной горы, посидел за прощальным обедом с провожавшими его Аксаковыми, Погодиным и Щепкиным на первой от города почтовой станции в Перхушкове. В Италии, куда он направлялся, его ждала работа над окончанием первой части «Мертвых душ».

Вернувшись в Россию с законченной рукописью, Гоголь торопится в Москву. Несколько дней, проведенных им в Петербурге, кажутся вечностью: «Меня предательски завезли в Петербург. Там я пять дней томился. Погода мерзейшая...». Писатель надеется на поддержку московских друзей и известный либерализм местного цензурного комитета в связи с судьбой своей поэмы. И тем не менее препятствия в московской цензуре оказываются слишком серьезными. Остается воспользоваться предложением Белинского взять на себя все хлопоты и переговоры с петербургской цензурой, и в доме В. П. Боткина (Петроверигский пер., 4) Гоголь передает «неистовому Виссариону» рукопись. В ожидании решения он старается избегать так недавно радовавших его встреч с московскими знакомыми. Тяжелыми оказываются и последовавшие за цензурным решением два месяца, когда «Мертвые души» печатались в московской университетской типографии (Пушкинская ул., 34).

Останавливается Гоголь по-прежнему у Погодина на Девичьем поле, но любимый дом перестает радовать из-за все усиливающихся разногласий с хозяином. В последних числах мая 1842 года писатель вновь уезжает из Москвы, направляясь за границу. Опять его провожают Аксаковы и Щепкин, с которыми он расстается на

первой станции Петербургского тракта — в Химках. «Мы ходили вверх по маленькой речке, бродили по березовой роще, сидели и лежали под тенью деревьев; говорили как-то мало, не живо, не связно, — рассказывал С. Т. Аксаков. — Горькое чувство овладело мною, когда захлопнулись дверцы дилижанса; образ Гоголя исчез в нем, и дилижанс покатился по Петербургскому шоссе».

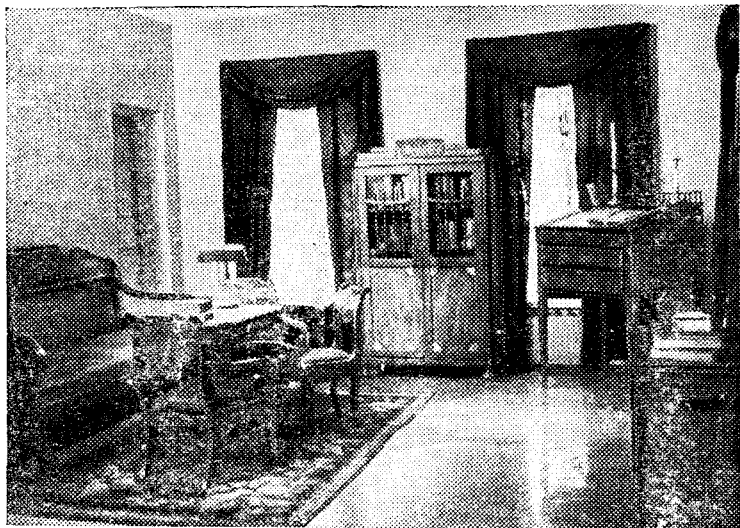
И снова была мечта, с каждым годом заграничных странствований определявшаяся яснее и желаннее, — в Москву, только в Москву! Надышаться московским воздухом, насладиться московской речью. Типы, характеры, ситуации второй, неоконченной части «Мертвых душ» — всё связывалось с любимым и всегда благожелательным городом.

В сентябре 1848 года Гоголь в Москве. На первых порах он останавливается у С. П. Шевырева (Детятный пер., 4). В распоряжении писателя целый дом, но только до тех пор, пока не вернется на зиму семья Шевырева. Да и весь город еще выглядит опустевшим, и Гоголь спешит в Петербург повидаться с друзьями. Спустя месяц он застанет в старой столице всех, с кем хотел встретиться. Наладившиеся было отношения с Погодиным позволяют даже вернуться в привычный дом на Девичьем поле. Но кажущееся возрождение дружбы не выдерживает испытания временем. Погодин начинает исподволь толковать о необходимости ремонта дома; Гоголь пользуется предлогом, чтобы принять приглашение поселиться у четы Толстых. Правда, завязавшие с ним дружбу за границей Толстые сами пока не располагают собственным жильем в Москве. Приехавшая сюда первой А. Е. Толстая живет в гостинице «Дрезден» на Тверской (ул. Горького, 6), где Гоголю доводилось часто навещать своего старинного друга А. О. Россет-Смирнову. И только с появлением в Москве в первых числах декабря 1848 года А. П. Толстого супруги снимают дом Талызина на Никитском бульваре (Суворовский бульвар, 7-а) и въезжают в него вместе со своим гостем.

Хозяева занимают второй этаж, Гоголю отводятся две комнаты первого этажа с отдельным входом из парадных сеней. Были здесь и тишина, и свобода, но было здесь и особенно больно ранившее после веселой многолюдной толчеи погодинского дома одиночество.

В первой комнате, приемной — два дивана под прямым углом друг к другу, два стола, заваленные новыми книгами, журналами, всем, что следовало бы, но никак еще не удастся прочесть, несколько стульев. Топящийся чуть не каждый день камин. Зеленый во всю комнату ковер. Здесь удобно, плотно притворив двери в сени, мерить комнату из угла в угол, вслух повторять написанные строки. Толстому не раз удавалось невольно подслушивать выразительное гоголевское чтение.

В кабинете — высокая конторка: Гоголь не изменил своей привычке делать первые наброски стоя. Книжный и платяной шкафы. Впрочем, вещи писателя, если не считать книг, спокойно уместились на дне одного тощего чемодана: две пары ношеного белья, единственный, далеко не новый, сюртук, носовые платки, пара сапог, шинель. У дивана — круглый стол, сидя за которым Гоголь переписывал свои черновики. У кафельной печки за ширмами — кровать. Нехитрый холостяцкий быт, без капризов, особенных привычек, без семейного тепла. За окнами, на берегу плетистого ленивого ручья Черторыя, зеленая полоска молодого бульвара, куда Гоголь любил уходить в сумерках, бродя по главной аллее. В сторо-



Кабинет Н. В. Гоголя в доме А. П. Толстого на Никитском бульваре (ныне Суворовский бульвар, 7а). Реконструкция. 1970-е годы

не густыми тенями располагались группы студентов, приходивших хоть издали взглянуть на великого — в этом уже никто не сомневался! — писателя.

В доме Гоголь мог спрашивать еду в свои комнаты, мог подниматься к хозяевам в столовую, светлую и пустую залу. При всей расположенности к гостю А. Е. Толстая угнетала своей солидностью — она засыпала везде и при всех, достаточно ей было только присесть, паническим страхом перед сквозняками и болезнями — посуда под ее собственным присмотром перемывалась и перетиралась по семи раз. Хорошая пианистка, она исполняла только духовную музыку, а единственным ее развлечением было, когда в теплые погожие дни Гоголь читал ей вслух на большом выходящем во двор балконе. Внизу густо клубились напоминавшие Васильевку вишневые деревья, за ними виднелись службы, людские, кухни. А на месте, где сегодня стоит памятник писателю, с утра до вечера скрипел колодезный журавль. «Меньше, чем когда-либо прежде, я развлечен, — пишет Гоголь, — более, чем когда-либо, веду жизнь уединенную».

Впрочем, уединение талызинского дома не мешает ему в 1849 году отметить традиционный «Николин день» все в том же погодинском саду. Былого непринужденного веселья не получилось — слишком изменились за прошедшие годы участники былых празднеств, но отношение к самому Гоголю остается восторженным. Почти ежедневно бывает он у живших по соседству Аксаковых. В кругу их семьи Гоголь обычно отмечает свой день рожде-

ния. В 1849 году это было на аксаковской квартире в Сивцевом Вражке, 30. «19 марта,— записывает С. Т. Аксаков,— я получил от него довольно веселую записку: „Любезный друг, Сергей Тимофеевич, имеют сегодня подвернуться вам к обеду два приятеля: Петр Мих. Языков [брат поэта] и я, оба греховодники и скоромники. Упоминаю об этом обстоятельстве, чтобы вы могли приказать прибавить кусок бычачины“».

Гоголь продолжает бывать у Погодина; как-то он слушает здесь чтение А. Н. Островским его комедии «Банкрот» («Свои люди — сочтемся»). Опоздав к началу, он простоял в дверях все время чтения, с большим теплом отозвался потом об авторе. Гоголевская записка с добрыми словами стала священной реликвией для Островского.

Писателя можно встретить у поэтессы Е. П. Растопчиной (на Садовой-Кудринской ул., 15), особенно покровительствовавшей в эти годы художнику П. А. Федотову, в семье Васильчиковых на Большой Никитской (ул. Герцена, 46), у которых еще в ранние годы ему довелось жить домашним учителем, у Н. В. Путяты в подмосковном Муранове, у С. П. Шевырева в Больших Вяземах, где он подсказывает литератору Н. В. Бергу мысль написать очерк о забытом сельце пушкинского детства Захарове, в нынешнем микрорайоне Москвы Теплом Стане, принадлежавшем в то время брату А. П. Толстого. Несколько раз гостит Гоголь в аксаковском Абрамцеве, где у него появляется своя комната в мезонине с окном во двор и привычной для писателя обстановкой — диван, кресла, стол.

Редко пустовала гоголевская половина и в талызинском доме. Сюда приводит Щепкин молодого И. С. Тургенева, и Гоголь говорит о своей радости познакомиться с новым ярким талантом. Навещает писателя И. К. Айвазовский. 5 ноября 1851 года Гоголь устраивает здесь чтение «Ревизора» для труппы Малого театра. Среди слушателей Щепкин, Шумский, Садовский, литераторы И. С. Аксаков, Н. В. Берг, И. С. Тургенев. «Гоголь,— записывает Тургенев под впечатлением состоявшегося чтения,— поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет — есть ли тут слушатели и что они думают».

Продолжавшаяся упорная работа, дружеские встречи никак не предвещали трагического конца. Даже самым близким друзьям было трудно поверить в серьезность произошедшего перелома. В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года писатель сжег в камине свои рукописи. Через 10 дней его не стало. Первые часы прощания — в той же приемной, где скульптор Н. А. Рамазанов снимает по смертную маску, позже — в университетской церкви (ул. Герцена, 1). Два дня движение по Большой Никитской и прилегавшим бульварам было прервано толпами желавших проститься с писателем. 25 февраля состоялись похороны на Даниловском кладбище.

«Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова? — пишет Тургенев.— Человек, которым мы гордимся как одной из слав наших!.. Мысль, что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он поконится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил».

Н. М. МОЛЕВА

Теперь же скажем коротко, что, по нашему крайнему разумению и искреннему, горячему убеждению, «Мертвые души» стоят выше всего, что было и есть в русской литературе, ибо в них глубокость живой общественной идеи неразрывно сочеталась с удивительною художественностью образов, и этот роман, почему-то названный автором поэмою, представляет собою произведение столько же национальное, сколько и высокохудожественное.

В. Г. Белинский

Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют — простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: г. Гоголь — поэт, поэт жизни действительной.

В. Г. Белинский

Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился.

А. С. Пушкин

...Ни в ком из наших великих писателей не выражалось так живо и ясно сознание своего патристического значения, как в Гоголе. Он прямо себя считал человеком, призванным служить не искусству, а отечеству...

Н. Г. Чернышевский

К 90-летию
Л. Н. Сейфуллиной

МАСТЕР НАРОДНОЙ РЕЧИ

Замечательная советская писательница Лидия Николаевна Сейфуллина «писала новую, революционную жизнь, которую прошла сама, частью которой себя ощущала. Писала сжато, отрывисто, горячо, сильным и образным языком сибирской деревни, громко заговорившей о земле и свободе», — так сказал о самом главном в ее творчестве Ираклий Андроников во вступительном слове к 4-томному собранию сочинений Л. Н. Сейфуллиной.

В 1924 году в журнале «Красная новь» была опубликована повесть «Виринея», которая заняла видное место в литературе 20-х годов. В этом произведении очень откровенно и искренне показано столкновение сил уходящего деревенского мира с побеждающей новой жизнью. Внимание писательницы сосредоточено прежде всего на личности главной героини — Виринеи. Сейфуллина мало рассказывает о ней, почти ничего не объясняет в ее поведении, а картинами, сценами, диалогами ярко живописует ее образ.

Драматизм произведения и мастерство речевых характеристик стало той благодатной почвой, на которой из повести выросла пьеса «Виринея», написанная Сейфуллиной в соавторстве со своим мужем В. П. Правдухиным, критиком и очеркистом. Впервые, в 1925 году, на сцене Вахтанговского театра «Виринею» поставил режиссер Алексей Попов, и она стала в театральной жизни событием. Писательница Ольга Форш вспоминала об ее огромном успехе: «В памяти возникает премьера в театре Вахтангова пьесы

Сейфуллиной „Виринея“. Непрерывные аплодисменты подчеркивают удачу текста, языка, оригинальности самой героини. Виринея была первой новой женщиной, во всей свежести и убедительности воплощенной в пьесе. После нее легко появились другие... Но Виринея была первой».

Этот спектакль был для того времени фактом полемическим, пропагандистским — утверждение нового, революционного репертуара на русской, а затем, когда в 1927 году «Виринея» была поставлена в Праге, и на международной сцене. В 1928 году театр Вахтангова показывает «Виринею» в Париже на фестивале европейских стран, где спектакль сопровождает бурная, подчас противоречивая реакция зрителей: «Одни и те же реплики вызывали аплодисменты одной половины зрительного зала и протестующий свист другой», — вспоминает А. Попов.

С 1967 года до недавнего времени спектакль «Виринея» шел в постановке Евгения Симонова, а главную роль исполняла народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР Юлия Борисова, чья темпераментная, озорная, боевая. Виринея проживала свою полную драматизма жизнь на сцене и не оставляла равнодушных в зрительном зале.

Очень убедительно и естественно показан в пьесе путь сильной, мечущейся крестьянской женщины Виринеи к революции, к борьбе за светлое будущее. В этом превращении участвуют все качества, задатки, стремления героини: и непамять к богатым и эксплуататорам, и поиски справедливости, и любовь, и жажда материнства.

Писательница откровенно любит свою героиню, наделяет ее необычной красотой, чуткостью к несправедливости, озорным, даже иногда грубым, но метким языком. Вот как, например, Виринея отваживает от себя непрошенных ухажеров. «При людях не постыдилась, голосом громким и твердым сказала:

— Я, Нефед, гулящая. Каждый хороший человек может меня страмить всяким словом, где ни попадусь. В глаза в мои бесстыжие плевать и смехом похабным бесчестить... Только не видать хороших-то! Все больше пакостники, блудники да злыдни. Пока охота была блудить с тобой, блудила. А сейчас на дух не надо тебя. И ты меня не замай! Горло зубами перегрызу, морду ногтями пинахрачу. Смерти не побоюсь, а тебя от себя отважу... С топором сплю, и топор рука подымет, вот тебе слово мое. Я бесстрашная» (здесь и далее цитируется: Л. Н. Сейфуллина. Собрание сочинений в 4-х томах, М., 1968. т. 2).

Когда в деревню пришла революция, она пробудила и направила в нужное русло силы Виринеи. В это время жизненные обстоятельства сблизили ее с большевиком, бывшим солдатом Пав-

*Сцена из спектакля
«Виринея».
Виринея — Ю. Борисова,
Павел — М. Ульянов*



лом (она ведет его хозяйство и ухаживает за его детьми). Присмотревшись к деятельности Павла в деревне, Виринея находит ответ на многие, давно мучившие ее вопросы. По активности своей натуры она горячо, безоглядно вмешивается в события: «Уж трясти, дак до корню трясти. Я радельника-то своего, дядю Антипа, встретила, дак не удержала слово: готовься, мол, дядя. Добро забирать к тебе придем. Равнять, дак равнять».

Постепенно Виринея становится большевичкой, помогает Павлу, она прячет у себя подпольщика, передает письма и т. д. Со всем пылом своего темперамента она разъясняет людям то, что ей самой только вчера стало понятным, но во что сама твердо поверила. Вот, как она смело поднимает народ на восстание, которое должно помочь красному отряду под руководством Павла освободить их деревню. «Ах вы, собаки! Мне ли, бабе, да еще какой — дурной бабе, учить вас али там корить? А вот приходится. Словами только блудили, а как до дела час дошел, дак слюни пускаете! Нельзя так, мужики! Нельзя, братцы вы мои, товарищи! Какая жизнь-то у вас, долго еще протянете? Кто говорил: стоять до последнего? До чего жидка в страхе душа у человека. Сволочи вы! Не хотите, не надо. Еще людей наберу. Мне не поверят, жизни своей поверят, что нельзя боле ждать». Много спорили мужики после этой зажигательной, искренней, от самого сердца речи Вириней и решили все же организовать помощь Павлу. «Вирка со

светлым лицом уходила. Будто на большую радость спешила идти, а не на трудное дело», — так говорит о состоянии своей героини автор. Виринея погибает, так и не дождавшись окончательной победы большевиков. Драматизм концовки пьесы — характерная черта многих других произведений писательницы. Но недолгая сознательная жизнь Виринеи во имя революции осветила всю пьесу светом надежды.

Очень самобытен и образен язык повести и пьесы. Речь народа Сейфуллина знала глубоко и тонко. Как писал И. Андроников: «Не только героиня Сейфуллиной — она и сама в рассказах своих говорит языком народа, додумывает за него его мысли, досказывает его чувства, сливается с ним, щедро воспроизводит живые разговорные интонации, не боясь грубоватой прямоты деревенской речи, ни возникающих в ходе сюжета жизненных сложностей».

Писательница смело воспроизводит характерные для разговорной речи неправильные формы слова: *страмить, слабода (свобода), баушка, перьвый, куды, што, дак, аль, чать, пуцай, хучь, штоб, не пужлива, (руками) склизкими, знамо, хочут и др.; просторечные и сибирские обороты: брехать (врать), не буркоти (не ворчи), всколгогила (взбаламутила, взволновала), не замай (не тронь), вяжешься (пристаешь), великатно (уважительно), нетерплячее (нетерпеливое) у господ нутро; обряда (одежда), лихоманка (болезнь), не хайли (не ругайся); фольклорные слова и выражения: касатка, чиста горница, ластынька; ох, головушка моя, ох, сердечушко в лютой тоске и т. д.* В этом отношении очень интересно причитание Аписи над погибшим мужем; оно полно лиризма, задушевной грусти. Она так обращается к погибшему: «Голубь белый, желанный, соколик мой, дорогой супруг Силантий Пахомович!.. Не березынька в поле одинешенька трясется-качается, ветру жалится, а супруга твоя, вдова горькая, оземь бьется бедной своей головешкой, кричит, выкликает тебя, соколика, а твоего голоса не дождетя, не выпросит. Замолчал навек, успокоился...». В её «плаче» встречаются традиционные фольклорные выражения и сочетания: *сыра земля, резвы поженьки, ясны глазыньки, белы рученьки* и другие.

Диалог в «Виринее» — живой, яркий, энергичный.

Например, — «Ви-ирка-а! Ви-ир! Кулы запропастилась?

— Ну, чего ты базлаешь? Отдохнуть под сараем я хотела.

— Отоспишься еще. Айда скорей Магару глядеть.

— Ну-у? Помирает?

— Да! Ну да! Давно уж зачал. Гляди не протолкаемся, не увидим.

— А я ведь, Аписья, думала: он врет. Крепкий, мол, не сваляешь!



Виринея — Ю. Борисова

— Ну, айда, айда, не растабарывай. А то народ бегёт, а мы мешкаем».

В этом диалоге Виринеи и солдатки Анисьи много восклицаний, частиц *ну, ну-у, ведь*, свойственных устной речи, есть и просторечные слова (*базлаешь* — кричишь, *зачал* — начал, *айда* — идем, *не растабарывай* — не разговаривай лишнее), есть и неправильная форма глагола *бежать* — народ *бегёт*. За этими словами слышатся живые голоса, зримо представляются сгорающие от любопытства две деревенские женщины. Живой диалог, разговорный язык широких слоев сибирского крестьянства — главный художественный прием Сейфуллиной не только в массовых сценах, но и в изображении отдельных характеров, человека.

Каждому герою Сейфуллина дает индивидуальную речевую характеристику, неразрывно связанную с его чувствами, мыслями, настроением. Взять, например, Павла, бывшего солдата, грамотного и работающего, ставшего большевиком. Вот как сообщает он Виринее весть об отречении царя: «...Пакет староста из волости привез. За учительницей послали, сейчас на сходе вычитывать будет! Никакого нет царя! Один отрекся, другой отказался, а глядеть — пошибали их всех. Завтра в город поеду, все хорошенько разузнаю». И вдруг добавил, будто невольно в радости открылся: «— Я-то знал... Ждали мы этого. Там, в городе, ещё унюхали. Ну, здесь с двоими тишком разговаривали».

Речь его звучит почти литературно, хотя и встречаются просторечные слова: *унюхали* (разузнали), *тишком* (тайно). И когда Павел понял, что Виринея тянется к справедливой, лучшей жизни и готова за нее бороться, он сказал ей: «А ты мне, пожалуй что, не только по хозяйству, а в других делах хорошей помощницей будешь».

Сейфуллина обладала особым даром передать характерность времени не только через мелкие подробности быта и психологии, но и через речь героев. Интересна и показательна в этом отношении сцена выборов в Учредительное собрание, где мать тайком от мужа, зажиточного мужика, голосует за большевиков, так как слышала, что они против войны, а у нее сын на фронте. Она просит Виринею капнуть на нужный ей бюллетень маслицем, чтобы отметить его, — ведь она неграмотна: «А я к тебе тайком: сын у меня ещё не вернулся. Ты мне скажи, какой большековский-то. Я его тишком супу... Сынок-от бы хоть вернулся. У отцов сердце твердое, а мать как замается, дак не то листка — ножка вострого не побоится».

Очень выразительны в пьесе массовые сцены. Например, выступление на сходе оратора из города, агитирующего за войну до победного конца. Речь его полна штампов, неискренна: «Женщина, жена и мать, разумеется, несет на себе тяжесть нашей священной войны. Но когда война необходима для защиты... Вся страна стонет под тяжестью войны, но...».

А реплики крестьян на этом сходе полны искренности: «— Может, размышку хуть какую обявят?»

— У мене старшого, Митьку-то, убили, а сичас опять в письме: Васькашибко подстрелен. Чи жало дело-то обертывается.

— Слышь-ка, как называть-то, не знаю, скажи-ко, голубь, игде хлопотать? Способе-то задержали в волости, а мужик-от отшибленный у меня...».

За каждой репликой — живой человек, стремящийся сказать о своем, о малом, но о кровном.

Писательница «способна обозначить живые „стереоскопические“ фигуры с помощью двух-трех фраз... Все эти свойства сообщает её прозе особую „плотность“, которой соответствуют и лаконичная фраза, и свой экспрессивный стиль, и незаемная, нетрадиционная форма».

Повесть и пьеса «Виринея» и многие другие произведения Л. Сейфуллиной продолжают жить и волнуют каждое новое поколение читателей, которые находят в них необходимую для себя долю исторического, духовного, нравственного опыта.

М. А. ГАЛМАНОВА



«Несказанное, синее, нежное...»

Поэтические номинативы
в творчестве С. Есенина

В творчестве Есенина даже простое перечисление деталей обстановки, условий действия превращается в художественный образ. Этому в немалой степени способствует использование поэтических номинативов (изобразительных имен падежания). Они позволяют создавать живописные, зримые картины быта, родной природы, передавать настроения и переживания лирического героя (курсив всюду мой. — В. К.):

*Изба крестьянская.
Хомутный запах дегтя.*

.....
Под окнами
Костер метели белой.
Мне девять лет.
Лежанка, бабка, кот...

Мой путь
Мелколесье. Степь и дали.
Свет луны во все концы.
«Мелколесье.
Степь и дали...»

Эмоционально — экспрессивная насыщенность номинативов достигается за счет эпитетов: «Синий май. Заревая теплынь»; «Синий туман. Снеговое раздолье, Тонкий лимонный лунный свет»; метафорических сочетаний: «Золото холодное луны, Запах олеандра и левкоя».

Номинативы могут включать существительные, образованные на базе прилагательных. Такие имена — нередко создаваемые самим поэтом — не столько констатируют то

или иное явление, сколько характеризуют окружающий мир, внутреннее состояние героя: «Светит месяц. *Синь и сонь*» («Вижу сон. Дорога черная...»); «Где ты, радость? *Темь и жуть*, грустно и обидно» («Годы молодые с забубенной славой...»).

В функции номинативов выступают и субстантивированные (употребляемые в значении существительных) прилагательные и причастия в среднем роде: «Несказанное, синее, нежное...»; «Пред-рассветное. Синее. Раннее. И летающих звезд благодать» («Листья падают, листья падают...»); «Нездоровое, хилое, низкое, Водянистая, серая гладь» («Этой грусти теперь не рассыпать...»).

Отсутствие у этих образований предметной отнесенности создает оттенок неопределенности; передаваемые ими характеристики, свойства распространяются как бы на все окружающее. Такие номинативы обычно не употребляются в одиночку: их внутреннее наполнение требует продолжения, уточнения, даже в случае выделения каждого из них в отдельное предложение. Бессоюзие подчеркивает тесную связь между именами.

Вообще же номинативы у Есенина редко когда встречаются по одному. Чаще всего они образуют трехчленный бессоюзный ряд — цепочку, каждое последующее звено которой выделяет, дополняет значение предыдущего. Эти названия легко укладываются в одну или две стихотворные строки; если же третий член составляет второй стих, его распространенность становится чуть ли не обязательной, создавая впечатление завершенности, законченности поэтического образа:

Ночь и поле, и крик петухов...

Топи да болота,
Синий плат небес.

Пушистый звон и руга,
И камень под крестом.

Обратный порядок — распространенное наименование в первой строке и два наименования во второй — встречается значительно реже:

Улицы печальные,
Сугробы да мороз.

Дальнейшее удлинение ряда могло бы вызвать впечатление нарочитости, заданности, что противоречило бы задушевному, доверительному тону поэзии Есенина. Ср., например, минимально распространенный четырехчленный ряд, за которым следует двучленное предложение, и только затем — новый трехчленный ряд:

*Балаганы, пни и колья,
Карусельный пересвист.
От вихлистого приволья
Гнутся травы, мнется лист.*

*Дробь копыт и хрип торговок,
Пьяный пах медовых сот.*

«На плетнях висят баранки...»

Распространение номинатива-существительного чаще всего происходит за счет единичной формы согласования. Особенность поясняющего прилагательного — в его скрытой возможности быть сказуемым. Согласованный член как бы раздваивается в своих функциях — определения и сказуемого. Возникает своеобразная грамматическая двузначность, омонимичность, позволяющая достичь большей смысловой нагрузки не только согласованного, но и характеризующего им стержневого слова.

В поэзии порядок следования существительного и прилагательного обычно играет роль дополнительного, второстепенного показателя синтаксических отношений. Поясняющее слово перед существительным сильнее проявляет признаки определения, а после существительного — сказуемого. Однако эти значения не раскрываются до конца, допуская и другое толкование. Ведь позиция прилагательного, стоящего после существительного, может восприниматься как инверсия, обычный прием выделения значимого слова, нередко подчиняющийся требованиям ритма и рифмы. Оттенок сказуемого ощутимее сказывается у качественных прилагательных; «Голубая да веселая страна»; «Голубая кофта. Синие глаза»; «Смешная жизнь, смешной разлад» («Мне грустно на тебя смотреть...»); «Воздух прозрачный и синий...».

У Есенина можно встретить параллельное использование прямого и обратного следования прилагательного и существительного: «Синий свет, свет такой синий!» (Исповедь хулигана); «Поступь вежная, легкий стан...» («Заметался пожар голубой...»); «Вижу сон. Дорога черная. Белый конь. Стопа упорная»; «Дорога довольно хорошая, Равнинная тихая звень» (Анна Снегина). Следующее за существительным согласованное определение может обособляться. В выделенном таким образом слове содержится частичная сказуемость, то есть дополнительная характеристика предмета или явления: «Свет луны, таинственный и длинный, Плачут вербы, шепчут тополя» («Спит ковыль. Равнина дорогая...»).

Номинативы нередко вводятся поэтом в бессоюзное (иногда союзное) соединение с двусоставной частью. В таких построениях характеристика независимого именительного развивается, создается контекстом, включающим и номинатив, и двусоставную часть.

В предложении «Снежная равнина, белая луна, Саваном покрыта» наша сторона» сочетание *саваном покрыта* поддержано зачином *снежная равнина*; ср. также: «Свет вечерний шафранного края, Тихо розы бегут по полям»; «Плачет метель, как цыганская скрипка. Милая девушка, злая улыбка, Я ль не робею от синего взгляда?» («Плачет метель, как цыганская скрипка...»). Реже номинативы следуют за двусоставной частью, они лишены в таком случае связи с ее сказуемым и приобретают большую самостоятельность в составе сложного предложения: «Размахнулось поле русских пашен, То трава, то снег...» («Свищет ветер под крутым забором...»).

Казалось бы, наибольшей определенностью должны обладать номинативы, вводимые частицей *вот*: «Но вот и Криуша...» (Анна Снегина). Однако чаще поэт использует частицу в сочетании, содержащем оценку — восхищение, осуждение, пронию. Распространенное имя в таких выражениях обычно выступает приложением к лично-указательному местоимению, выделяющему следующие за ним слова: «Вот оно, мое стадо рыжее! Кто ж воспеть его лучше мог?» (Хулиган); «Вот оно, глупое счастье С белыми окнами в сад!»; «Вот она, суровая жестокость, Где весь смысл — страдания людей!» (Песнь о хлебе); «Вот она, невеселая рябь С журавлиной тоской сентября!» («Ночь и поле, и крик петухов...»).

Оценочная установка номинатива может усиливаться (повышается его эмоционально-экспрессивный эффект, меняется интонационный рисунок стиха). Такие называния оформляются как восклицания: «Какой скандал! Какой большой скандал!» (Русь уходящая); «Какая ночь! Я не могу. Не спится мне. Такая лунность». Эмоционально-оценочная направленность номинатива возрастает за счет усилительных частиц *а, что за*: «А кони, кони!» («Эх вы, сани! А кони, кони!...»); «Что за сани!» («Мелколесье. Степь и дали...»).

В контексте поэтического произведения усложняются связи номинативов с другими словами. В сочетании с междометием (а иногда и лексически ослабленным местоимением) такие имена сближаются с обращением, но не становятся им. Это, как правило, наименования предметов окружающего мира, явлений природы, качеств и свойств. Благодаря выделительной интонации номинативы приобретают особое поэтическое звучание: «О пашни, пашни, пашни, Коломенская грусть...»; «Эх, береза русская!» («Вижу сон. Дорога черная...»); «Эх ты, молодость, буйная молодость, Золотая сорвиголова!» («Несказанное, синее, нежное...»).

Представление имени и одновременно его оценочная характеристика содержатся в конструкции, включающей междометие, местоимение *этот* и существительное. За недосказанностью, незавер-

шенностью таких высказываний стоит контекст — предшествующий и последующий:

Ну как теперь ухаживает дед
За вишнями у нас, в Рязани?

Ах, эти вишни!
Ты их не забыла?

Письмо к сестре

Мой мельник...
Ох, этот мельник!
С ума меня сводит он.

Анна Снегина

Наименования-восклицания соседствуют в стихах Есенина с номинативами повествовательного типа, создавая своеобразный интонационный рисунок и вызывая сдвиг субъективной оценки: «Думы мои, думы! Боль в висках и темени» (Песня). Особый оттенок приобретают поэтические строки, содержащие имя (сначала употребленное как обращение, а затем повторенное еще раз, уже как номинатив):

*Голубая родина Фирдуси,
Ты не можешь, памятью простыв,
Позабыть о ласковом уресе
И глазах, задумчиво простых,
Голубая родина Фирдуси.*

Разноименные номинативы и обращения сочетаются в одном контексте, образуя сплав неоднородных по своей роли именительных:

Где ты, где ты, *отчий дом*,
Гревший спину под бугром?
Синий, синий мой *цветок*,
Неприхоженный *песок*.
Где ты, где ты, *отчий дом*?

*Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?*

Восклицательные номинативы содержат различную степень сказуемости: «Край ты мой забытый, Край ты мой родной! («Топа да болота...»). Они приобретают даже функцию сказуемого дву-

составного неполного предложения. Но подобное употребление встречается редко, например при передаче прямой речи:

И помню, дед мне
С грустью говорил:
«Пустое дело...».

Мой путь

«Вот чудак!
Он в жизни
Буйствовал немало...»

Метель

Объединенные в ряд номинативы могут выражать взаимоисключающие значения. Один поэтический образ вызывает другой, третий, возникает оттенок неопределенности, зыбкости окружающего, заметный как в вопросительных, так и в повествовательных конструкциях: «Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?» («Несказанное, синее, нежное...»); «Шепот ли, шорох или шест — Нежность, как песни Саади» («Воздух прозрачный и синий...») — в последнем примере связи номинативов поддерживаются созвучиями.

Иногда имя определяет тему лирического повествования. Такие называния у Есенина обычно уже содержат сведения о предмете или явлении, которые уточняются и конкретизируются в последующем тексте. Тем самым вынесенный вперед номинатив очерчивает первые контуры поэтического образа:

*Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин,—
Вот что видел я в резвую юность,
Что, любя, проклинал не один.*

Поэтические номинативы выступают своеобразным зачином или рефреном стихотворения:

*Море голосов воробьиных.
Ночь, а как будто ясно,
Так ведь всегда прекрасно.
Ночь, а как будто ясно,
И на устах невинных
Море голосов воробьиных.*

Номинативы в творческой лаборатории Сергея Есенина — один из многих изобразительных приемов, создающих неповторимый стиль замечательного советского поэта.

В. И. КОНОНЕНКО

Киев

Рисунок В. Комарова⁴

РУССКОЕ УДАРЕНИЕ

II

Немало хлопот доставляют нормы ударения у существительных мужского рода. В самом деле, как правильно: *каталог* или *катáлог*, *обух* или *обух*, *теорог* или *твóрог*, *отсвёт* или *отсвeт*, *искус* или *искус*? И таких сомнительных пар в современном русском языке не десятки, а сотни. Примечательно при этом, что колебание ударения в исходной форме, то есть в именительном падеже, распространяется главным образом на двусложные и трехсложные имена. Очевидно, мы имеем дело здесь с каким-то общим акцентологическим процессом, в результате которого происходит постепенная перестройка норм ударения. Всякое же изменение в языке совершается, как известно, не сразу, не мгновенно, а через более или менее длительную стадию вариантности. Временно сосуществующие старые и новые формы вступают в конкуренцию, что и вызывает сомнения и колебания.

И действительно, история русского языка (во всяком случае на протяжении последних двух столетий) свидетельствует о том, что для многих двусложных и трехсложных имен мужского рода характерно перемещение акцента с последнего слога ближе к началу слова, то есть на второй или третий слог от конца.

Вот несколько примеров уже произошедшего изменения нормы ударения. В XVIII и даже в первой половине XIX века еще говорили *воздúх*, *призрáк*, *прикúп*, *отрб́к*, *локóть*, *судáрь*, *окрúг*, *остб́в* и т. п. Ударение *призрáк* встретилось, например, у Пушкина, Батюшкова, Дельвига, Баратынского, Лермонтова и других поэтов той поры. Сейчас такое произношение полностью устарело, нормой стало: *вóздух*, *прíзрак*, *прíкуп*, *отро́к*, *лб́коть*, *сúдарь*, *б́круг*, *б́стов* и т. п. Еще в XIX веке слово *заговор* в значении 'тайное соглашение' произносили с ударением на последнем слоге: *заговóр*. Именно такое ударение указывается в «Словаре Академии Российской», Толковом словаре В. И. Даля и других словарях того времени:

Ревнивец: бойся, близок час;
Амур с Досадой своенравной
Вступили в смелый заговёр,
И для главы твоей бесславной
Готов уж мстительный убор.

Пушкин. Руслан и Людмила

Опальному изгнаннику легко
Обдумывать мятеж и заговёр...

Пушкин. Борис Годунов

В наши дни это слово произносят с ударением на первом слоге: *за́говор*.

Однако у многих других существительных мужского рода норма ударения остается неустойчивой. Возьмем, например, слово *договор*. Еще несколько лет назад на обложках школьных тетрадей среди типичных ошибок указывалось: неправильно — *дб́говор*, правильно — *договёр*. Действительно, именно *договёр* представлено как в классической поэзии, так и у большинства современных поэтов:

Заредкий наш и честный малый
Вступили в важный договёр,
Враги стоят, потупя взор.

Пушкин. Евгений Онегин

Но за последнее время в употреблении и оценке варианта *дб́говор* произошли изменения. Если в Толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова и 17-томном Словаре это ударение характеризовалось как просторечное, а в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (1949) вообще не указывалось (считалось нелитературным), то в последующих словарях оценка ударения на первом слоге несколько смягчилась. 4-томный «Словарь русского языка», словарь-справочник «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» (1973), «Словарь русского языка» С. И. Ожегова (1972), «Словарь трудностей русского языка» (1976) снабжают ударение *дб́говор* пометой «разговорное», допуская его, следовательно, как сниженный вариант литературной нормы в непринужденно-обиходной речи. В 13-м же издании «Орфографического словаря русского языка» (1974) *договёр* и *дб́говор* приводятся без стилистических ограничений, то есть как равноправные варианты. Что же произошло? Почему на наших глазах отступает традиционная норма?

Хотя ударение *дб́говор* и является сравнительно поздним, оно находит поддержку у других слов и вообще соответствует живой народной тенденции переносить ударение на приставку у имен

мужского рода (сравните: *воздѣх*→*вѣздох*, *призрак*→*прѣзрак*, *заговор*→*зѣговор*). Перемещение ударения у слова *договор* поддерживалось, видимо, и другими факторами: влиянием украинского языка и колебанием ударения в сложных словах (соцдѣговор, колдѣговор). Главной причиной явилось, вероятно, стремление к подвижности ударения и разграничению форм единственного и множественного числа: ед. *дѣговор* — множ. *договорѣ*.

Действительно, если в XIX веке употреблялась исключительно форма множественного числа *договорѣ* («Племен минувших *договорѣ*...». Пушкин, Евгений Онегин), то сейчас форма *договорѣ* проникает из разговорной речи в публицистику и художественную литературу. Причем употребляется она часто уже без намеренной стилизации; представлена у Маяковского, Долининой, Грибачева, Чаковского и других современных авторов. В книге «Живой как жизнь» К. Чуковский предсказывал, что хотим мы этого или нет, не за горами то время, когда люди будут без всякой улыбки относиться к пародии 20-х годов, в которой встречалось выражение *подписать договорѣ*. Конечно, и сейчас форма множественного числа *договорѣ* имеет стилистически сниженный характер, но считать ее неправильной уже нет оснований. В свою очередь стремление ударения во множественном числе на последний слог *договорѣ* неизбежно подталкивает форму единственного числа к перемещению ударения на первый слог *дѣговор*.

Сейчас еще трудно с уверенностью сказать, станет ли со временем ударение *дѣговор* столь же нормативным и эстетически приемлемым, как *договорѣ*. Предпосылки для этого есть. Не только часть интеллигенции, но и современные авторитетные поэты употребляют вариант *дѣговор*:

Но ты не пугайся.

Я дѣговор наш не нарушу.

Не будет ни слез, ни вопросов,
ни даже упрѣка.

Берггольц. «Ничто не вернется...»

Однако предпочтительным сейчас остается традиционное ударение *договорѣ*.

Тенденция перемещения ударения у имен мужского рода с последнего слога коснулась не только исконно русских слов и ранних заимствований (ср. *бондѣрь*→*бѣндѣрь*, *обѣх*→*ббѣх*, *прѣвѣд*→*прѣвод*, *отсвѣт*→*ѣтсвѣт*, *спѣлѣх*→*спѣлѣх*, *прикус*→*прѣкус* и т. п.). Оттяжка ударения (или, как говорят лингвисты, рецессия ударения) не менее характерна и для поздних заимствований. Перемещение ударения с последнего слога на второй от конца ох-

ватило здесь даже большие группы структурно однотипных слов. Сдвиг ударения особенно отчетливо наблюдается, например, у заимствованных слов на *-лог*, *-метр*, *-граф*. В XIX веке говорили: *антрополо́г*, *археоло́г*, *биоло́г*, *патоло́г*, *психоло́г*, *этимоло́г* и т. п. Двести лет назад нормой было: *баромéтр*, *термомéтр*; ударение *маномéтр* сохраняется еще в Толковом словаре В. И. Даля. Колебания (*гальваномéтр* и *гальванóметр*, *микромéтр* и *микро́метр*) отмечены совсем недавно, в Толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова. В наше время решительно возобладали варианты: *археблог*, *библог*, *барóметр*, *гальванóметр* и т. п. Подобное же изменение нормы коснулось и многих иноязычных слов на *-граф*. В середине XIX века произносили: *автог्रा́ф*, *библиогра́ф*, *биогра́ф*, *лексикогра́ф*, *стеногра́ф*, *топогра́ф*, *эпигра́ф* и т. п. Выдающийся русский языковед В. И. Чернышев в книге «Русское ударение» (СПб., 1912) еще считал равноценными *деспóт* и *дэспот*, *скульпто́р* и *скульптор*, *фундаме́нт* и *фундамент*.

Время взяло свое. Тенденция к перемещению ударения с последнего слога ближе к началу слова продолжает действовать и в наше время. Все чаще говорят *пла́нер* (такое ударение зафиксировано в стихах Жарова, Берггольц, Винокурова, Шошина), *ра́курс*, *ката́лог*, *некрóлог*, *эксперт*, а не так, как требует традиционная норма: *планёр*, *раку́рс*, *катало́г*, *некроло́г*, *экспёрт*. Еще совсем недавно словари признавали нормативным только ударение *дебаркаде́р*, соответствующее французскому *débarcadère*. Ныне так произносят только представители старшего поколения, с детства изучавшие французский язык. Русифицированный вариант *дебарка́дер* утвердился теперь и в живой речи, и в современной поэзии (у Дудина, Мартынова, Гудзенко, Решетникова и др.):

И — кверху ушел дебарка́дер.

И — книзу ушел пароход.

Дудин.

«Мне берег приснился горбатый...»

Естественно возникает вопрос: каковы же причины исторической оттяжки ударения с последнего слога у многих имен мужского рода и каких последствий этого процесса можно ожидать в будущем?

Следует признать, что несмотря на ряд предложенных гипотез, причины этого акцентологического сдвига остаются пока неясными. Хотя ударение на втором слоге от конца слова для русского языка наиболее типично (такое ударение имеют более 40 процентов слов в исходной форме), этот факт едва ли является решающим. Вряд ли здесь сыграло заметную роль и влияние языковых контактов, и языков-посредников (хотя в отдельных случаях такое

воздействие очевидно; например, ударение в слове *мáршал*, заимствованном из французского языка через посредство немецкого). Наиболее вероятно, что в некоторых (преимущественно двусложных) иноязычных словах, имеющих формы множественного числа, причиной изменения акцента было стремление к подвижности ударения и противопоставлению форм числа: *паспóрт* → *пáспорт*, множ. *паспортá*, форма *паспóрты* устарела. Стихийное стремление к подобному противопоставлению форм числа обнаруживается и у многих исконно русских двусложных и трехсложных слов: *тока́рь* (такое ударение было нормой в XIX веке) → *то́карь*, множ. *то́кари* и разг. *токаря́*; *договóр* → *дóговор*, множ. *договóры* и разг. *договорá*.

Возможно также, что здесь сказалось влияние и формальной аналогии, и словообразовательных ассоциаций, и диалектных особенностей. Кроме того, ударение в многосложных словах для сохранения ритмического равновесия в речевом такте нередко смещается с крайних слогов ближе к центру: *дебаркадéр* → *дебарка́дер*. Это происходит потому, что, как известно, средний интервал между ударениями в соседних словах для современной русской речи равен двум-трем слогам.

Каковы же могут быть последствия рассматриваемого процесса? Ведь по мнению некоторых зарубежных лингвистов (А. Мейе, О. Есперсена и др.), рецессия ударения в таких германских языках, как английский и датский, вела к безударности окончания и к их постепенному отмиранию. Не грозит ли такая участь и русскому языку? Нет, не грозит. Оттяжка ударения с последнего слога у некоторых имен мужского рода, во-первых, часто сопровождается развитием подвижности ударения (ед. *пáспорт* — множ. *паспортá*), и, во-вторых, с лихвой компенсируется усилением ударения на окончании в падежных формах.

Действительно, еще в XVIII—XIX веках были широко употребительны такие, например, формы ударения в косвенных падежах: *хóлма*, *хóлму*, *на хóлме*; *язы́ка*, *язы́ку*, *о язы́ке* и т. п. Сейчас ударение на корне в падежных формах у этих слов уже устарело. У многих других слов сдвиг нормы происходит на глазах нашего поколения. Например, еще в Толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова нормативными признавались только формы родительного падежа с ударением на корне: *мо́ста*, *блинда́жа*, *метрáжа* и т. п. Хотя колебание ударения у слова *мост* продолжается и сейчас (ср. у Маяковского: «...И уселся у *мостá*. Травка выросла у *мо́ста*»), можно с уверенностью утверждать, что преобладающим становится наконечное ударение. Вот результаты анкетирования среди студентов: к *мо́стý* — 152, к *мо́сту* — 76, в контексте «Недалеко от моста»: *мостá* — 216, *мо́ста* — 27. Современные поэты

(Исаковский, Твардовский, Дудин, Жаров, Алигер, Щипачев, Мартынов, Наровчатов и др.) все чаще предпочитают формы *мостá*, *мостб́м* и т. п. Резко возросла употребительность таких ударений: *углѣя́*, *углѣ́м*, *на локтѣ́*, *локтѣ́м*, *груздѣ́я*, *груздѣ́м* и т. п. Сейчас уже вряд ли кто-нибудь скажет *порция гуля́ша* или *не хватает метрѣ́жа*, как это еще недавно рекомендовалось словарями. Наряду с ударением *сте́бля*, *сте́блю*, *сте́блем* поэты (Брюсов, Грибачев, Яшин, Мартынов, Михалков и др.) свободно употребляют ударение на окончании: «И от его мохнатого стеблѣ́...» (Яшин. Не умру).

Конечно, возрастающая употребительность новых вариантов — *локтѣ́м*, *стеблѣ́м* и т. п. — сама по себе еще не служит достаточным основанием для ломки акцентологической нормы. К тому же, окончание ударение возможно далеко не во всех контекстах: *царапина на лѣ́кте* (на *локтѣ́*), но только: *чувство лѣ́ктя*.

Итак, трудности в установлении ударения у многих существительных мужского рода обусловлены главным образом объективными процессами исторического изменения места акцента: в исходной форме — оттяжкой ударения с последнего слога на второй или третий от конца слова, в падежных формах — перемещением ударения на окончание. Однако несмотря на целесообразность многих изменений ударения, далеко не все даже продуктивные варианты могут быть признаны нормативными. Вообще оценка нового ударения должна опираться не только на количественные показатели, но и учитывать положение конкретного слова в лексической системе современного литературного языка, в особенности его культурно-престижную роль. Вот почему, допуская в качестве вариантов нормы *ра́курс*, *би́тум*, *ре́верс* и т. п., тяготеющих к профессиональной речи, словари обычно оставляют за пределами нормы такие даже весьма употребительные акценты, как *квѣ́ртал*, *ста́тут*, *некрѣ́лог*, *экспѣ́рт*. При этом сохраняется традиционное и несомненно более предпочтительное ударение *кварта́л*, *стату́т*, *некроло́г*, *экспѣ́рт* и т. п. Впрочем, и эти рекомендации имеют относительный характер, поскольку, как справедливо заметил В. И. Чернышев в книге «Правильность и чистота русской речи», «стилистические мерки и вкусы существуют для известного времени и меняются так же, как меняется язык».

К. С. ГОРБАЧЕВИЧ
Ленинград

ЧУЖОЕ — СВОЕ



О разных
типах
словарных
заимствований
и роли
синонимии

Заимствованные слова, кажется, с самого зарождения науки о языке оценивались прямо противоположным образом. С одной стороны, их воспринимали как результат общения народов, с другой — как порчу языка. М. В. Ломоносов, приветствуя старательное и осторожное употребление «сродного нам коренного славянского языка купно с российским», отвергает «дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков...» (М. В. Ломоносов. Предисловие о пользе книг церковных в российском языке). Он протестовал против наводнения русского языка чужими словами, объясняя «оние неприличности» следствием «небрежения». Обратим особое внимание на это указание.

Против «иноплеменных» слов ополчались славянофилы, но А. С. Пушкин, как известно, относился весьма проницательно к такому абсолютному отвержению чужих слов. Можно сказать, пушкинскую позицию занял В. Г. Белинский: заимствованные, «иноплеменные» слова важны и нужны тогда, когда не заменимы «по определенности, с какою выражают они заключенное в них понятие: поэтому многие из них можно бы перевести, да только перевод будет неточен — то же, да не то. Так, например, ...revanche [реванш] — *возмездие*: похоже, а не совсем!» («Грамматические разыскания» В. А. Васильева. 1845). Но тот же В. Г. Белинский напоминал: «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять здравый смысл и здравый вкус». В «Материалах к Российской грамматике» М. В. Ломоносов отметил пути словарных заимствований: соседство народов, торговля и другие исторические кон-

такты. Более поздние наблюдения позволили С. К. Буличу в статье «Заимствованные слова и их значение для развития русского языка» заметить, что именно вследствие контактов между народами «мы не найдем ни одного языка, свободного от заимствований» («Русский филологический вестник», Т. XVIII. Варшава, 1886). Это положение легко проследить на истории слов-путешественников. Возьмем одно такое слово, относительно недавно заимствованное русским языком, — *джинсы*.

Это слово, распространившееся в последние годы особенно в языке молодежи, уже теряет оттенок новизны и чуждости. Джинсы — любимый наряд и мальчиков, и девочек, и юношей, и вообще молодых людей. «Джинсы правятся миллионам», — сообщила «Неделя» (1973, № 41). А вот несколько строк из письма школьницы: у французов «яркие свитеры и потрепанные джинсы. Школьная форма, надоевшая за обычные дни, вдруг сплотила нас... В семь... форму сменили те же джинсы, все перемешалось, засмеялось...» («Комсомольская правда», 20 марта 1976).

*

Известно, что в середине прошлого века среди калифорнийских золотоискателей были в большом ходу брюки из очень прочной немаркой ткани *jean* [джин]. Как свидетельствует «Этимологический словарь английского языка» (Оксфорд, 1963), *jean* (*jane*) — хлопчатобумажная ткань, она известна с 1589 года (по другим источникам — с 1567 г.). Это франко-итальянское название происходит от имени города, откуда распространилась ткань: *Jene* (*Je-an*) — *Gene* (*Geane*), XV век — *Genoa*, XVII век — *Genova* — *Генуя* (к сожалению, его иногда читают как Женева — столица Швейцарии). Известны аналогичные названия тканей от географических наименований: *кашмир* (от Кашмир), *бостон* (от Бостон). Сначала *jean* [джин] было обычным определением: *jean sar* [джин кэп] — шапка, кепи из ткани джин. Затем сделанные из этой ткани брюки были названы *jeans* [джинс]. Это была одежда для работы, спорта. В русском языке заимствованное слово *jeans* [джинс] получает форму *джинсы* аналогично множественному числу слова *брюки*, подчиняется системе именного склонения: *джинсы, джинсов, джинсам*... Ср.: *типа джинсов, под джинсы* и даже уменьшительные формы — *джинсики, в джинсиках*. Уже есть относительное прилагательное: *джинсовый материал, джинсовая ткань*. Язык наш, как видим, активно подчинил чужое слово своей системе. Чужое делается своим.

Слово *джинсы* появилось на страницах печати — публицистической и художественной — с середины 60-х годов. Вначале вещь

джинсы воспринималась как атрибут чужой моды, а на слово лег отрицательный оттенок. Наименование *джинсы* было зафиксировано словарями. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов «Новые слова и значения» (М., 1971) отметил: *джинсы* — ‘узкие брюки из прочной хлопчатобумажной ткани, прошитые цветными нитками’. Вышедший в следующем году «Словарь русского языка» С. И. Ожегова (9-е издание, 1972) дал толкование, отмечающее форму и основное назначение этой одежды — ‘узкие спортивные брюки’. Как видим, вещь нашла применение в нашем быту, а слово — ее наименование — принято и освоено русским языком.

Итак, от собственного имени (названия города Генуя) — до наименования особого вида брюк: из Италии слово «путешествует» в Канаду и затем вновь в Европу, и в каждом языке слово меняет и свою форму, и (то в большей, то в меньшей степени) свое значение. Чужое слово, подвергаясь влиянию заимствующего языка, становится своим. Это один из типов словарного заимствования — результат языковых контактов и источник языкового обогащения (активной роли заимствующего языка была посвящена заметка «„Свое“ и „чужое“». — «Русская речь», 1976. № 6).

Заимствованные слова и их употребление составляют одну из важных проблем культуры нашей речи. Смысл иностранного по происхождению слова может быть искажен тем, что говорящий как бы не видит его жизни в родном языке и употребляет в этимологическом значении, то есть восстанавливает значение слова, существующее в языке-источнике. Перед нами послание одного любителя иностранных слов (журнал «Учитель-лингвист», выходящий в 90-х годах прошлого века в Петербурге): «Находясь в *аналитических* обстоятельствах, я обращаюсь к вам... и *юмористически* прошу помочь мне дать детям моим *эпидемическое* образование, в противном случае они могут выйти *идиотами* с быстрым соображением». Определение *аналитические* (*анализ* — ‘разложение, расчленение, разбор’) должно означать ‘стесненные (обстоятельства)’, ‘расстроенное (состояние)’; *юмористически* (*юмор* — ‘душевное состояние’) — ‘душевно’; *эпидемическое* — буквально ‘повальное, всенародно распространенное’ (*эпидемия* — ‘повальная болезнь’) — ‘общее’ (образование); *идиоты* — греческое ‘частные лица, миряне’ в противоположность монахам, не живущим в ‘миру’, в обществе; впоследствии ‘невежды, неучи’ — в противоположность ученым монахам. Однако эти латинские и греческие слова, как известно, давно приобрели новые осмысления, например *юмористически*, стали терминами — *аналитический*, *эпидемический*.

Жизнь в ином языке уводит слово от этимологического — пер-

воначального — значения. Меняются и форма, и содержание слова. Так возникает проблема «ложных друзей переводчика». «Ложные друзья» — это слова и похожие внешне, по созвучию, и непохожие по своему значению и функции (ср. *юмор* в русском языке и родственные французские *humour* 'юмор' и *humeur* 'настроение', английское *humour* 'юмор, нрав, настроение'; см. об этом подробнее: Р. А. Будагов. Человек и его язык. М., 1976, с. 267–274).

Как видим, заимствование тесно связано с проблемой культуры речи, с воспитанием чувства слова, «старательным и осторожным» употреблением чужого слова. Вот один современный пример «языкового недоразумения»: «— Ну почему ты хочешь остричь косички? — страдальчески спросила мама. — Ну почему? — У нас все девочки до одной их срезали. Потому что так оригинальнее. — А что, по-твоему, означает это слово — „оригинальнее”? — Как у всех, как модно, — уверенно сказала Машка. — Боюсь, что наоборот, — засмеялся папа и даже принес Машке зеленый том словаря „К—С”. — Убедитесь» (И. Зверев. Второе апреля). В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова читаем: *оригинальный* — 1) подлинный, первоначальный; 2) не заимствованный, не подражательный, не переводный; 3) своеобразный, незаурядный, странный.

А теперь обратим внимание на появившиеся в разных областях науки и в разных сферах общения непереуеванные на русский язык наименования и термины: *бройлер* — цыпленок, *бойлерная* — котельная, *фундаментальный* — основной, *комплементарный* — приложимый или сопровождающий. Как не вспомнить и не понять гнев славянофилов или азарт А. П. Сумарокова, написавшего в свое время статью под таким грозным названием — «О истреблении чужих слов из русского языка». Кстати, в современной Франции издан закон: использование иностранных слов в объявлениях, контрактах и официальных текстах будет караться штрафом (см.: «Известия», 12 марта 1976 года). Проблема заимствования обсуждается на страницах специальных журналов, см., например: «Вопросы языкознания» — статья Ф. П. Филина «Некоторые вопросы функционирования и развития русского языка» (1975, № 3); против бездумного заимствования чужих слов регулярно выступает «Литературная газета» (рубрика «Язык и время», публикации многих известных советских филологов).

«Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности?» — писал В. И. Ленин в статье «Об очистке русского языка». Вопрос «заимствовать — не заимствовать?» всегда сложен, он определяется одновременно социальными потребностями и языковыми возможностями. Примечательно решение Ф. Энгельса, принятое им в связи с публикацией книги «Развитие со-

циализма от утопии к науке» (см. предисловие к первому изданию на немецком языке): «Я ограничился тем, что устранил все излишние иностранные слова. Но оставляя необходимые, я отказался от присоединения к ним так называемых пояснительных переводов. Ведь необходимые иностранные слова, в большинстве случаев представляющие общепринятые научно-технические термины, не были бы необходимыми, если бы они поддавались переводу. Значит, перевод только искажает смысл; вместо того, чтобы разъяснить, он вносит путаницу». Нельзя не вспомнить здесь и слова В. Г. Белинского: «Неудачно придуманное русское слово для выражения чужого понятия не только не лучше, но решительно хуже иностранного слова». Вспомним также славянофильские «изобретения» (во что бы то ни стало свое!), так и оставшиеся мертвыми: *мокrostуны* 'калоши', *топгалище* 'тротуар'.

Справедливость же решения Ф. Энгельса можем подтвердить недавним примером из политического языка. На страницах советских газет в период выборов президента США (октябрь — ноябрь 1976 г.) появился термин *абсентеизм*, характеризующий нежелание многих американцев принимать участие в выборах (*абсентеизм* от англ. *absent* 'отсутствующий'). Перевод этого окказионально возникшего термина русским словом *отсутствие* не передал бы характерных особенностей поведения американских избирателей.

Стремление осмыслить чужое слово, определить его значение в системе своего языка — это обычное, естественное и необходимое условие для нормальной жизни заимствования. Вот один пример из стихотворения В. Маяковского с примечательным названием «О „фиасках“, „апогеях“ и других неведомых вещах». Поэт рассказывает, как группа красноармейцев пытается понять сообщение «дошли до своего апогея»:

— Сказано: до своего дошли —
ведь не до чужого.
Пусть рассеется сомнений дым.
Будь он селом или градом,
Своего «апогея» никому не отдадим,
а чужих «апогеев» нам не надо.

Апогей — не был еще общепринятым термином, и его «неведомый смысл» определялся по аналогии с другими словами, обычными для красноармейцев тех лет: *дойти до* — чего? — *села, деревни, города*. Такое осмысление слов называют народной этимологией.

Объяснение нового термина необходимо, без назойливой замены равнозначным словом, но с истолкованием и выделением от-

тенка значения. Например: «*Фронтир* вчера и сегодня [английское *frontier* переводится на русский язык словом 'граница', но здесь речь идет о границе в специальном американском смысле]... „границей“ называли изменчивый и приблизительный предел расселения продвигавшихся на Запад белых пионеров» («Иностранная литература», 1975, № 11).

Обогащение заимствующего языка может быть количественным. Это названия новых реалий — предметов, вещей и явлений, например, *джинсы*. Но обогащение заимствующего языка может быть и качественным; вот ряды синонимов с заимствованными словами: *актер* 'исполнитель ролей', *артист* 'об актере, певце, музыканте' — слова, пришедшие из французского языка, *лицедей* — русское, устаревшее; *порядок*, *распорядок* — русские слова, *режим* 'установленный распорядок труда, отдыха и т. д.' — из французского языка, а также проанализированное слово *оригинальный* и его возможные замены *подлинный*, *первоначальный*... или *фронтир* — *граница*. В этих рядах заимствованные слова — синонимы; они входят в синонимический ряд в основной — различительной — функции. Именно на эту функцию заимствованных слов в свое время обратили внимание А. С. Пушкин и В. Г. Белинский. Важно еще раз подчеркнуть, что заимствующий язык активно подчиняет чужое слово своей системе, перерабатывает его, превращая в свое, и отторгает все излишнее, скопированное либо ради дурной моды, либо в результате умственной лени.

А. А. БРАГИНА

Во всем мире отмечается увеличение интереса к русскому языку, вызванное ростом влияния и авторитета Советского Союза на международной арене, его достижениями в развитии экономики, науки и культуры. Сейчас более полумиллиарда людей в той или иной мере владеют и пользуются русским языком. Все чаще он становится языком общения и на международных встречах и симпозиумах.

Исходя из этого положения, Генеральная конференция ЮНЕСКО одобрила резолюцию, в которой генеральному директору предлагается изучить конкретные меры по расширению использования русского языка в ЮНЕСКО и включить этот вопрос в повестку дня следующей, XXI сессии Генеральной конференции.

Отвечает



ПАРА НОЖНИЦ, ПАРА СЛОВ

Вопросы, которые нам задают об употреблении слова *пара* в современном русском литературном языке, можно разделить на две группы: одни из них касаются его применения для наименования предметов — *пара ножниц*, другие — для обозначения определенного и неопределенного количества — *пара слов*.

Существительное *пара* (через немецкое *Paar* от латинского *par* — 'равный, пара') в современном русском языке имеет несколько значений (в 17-томном Словаре, например, их названо девять). Из «предметных» основным является значение 'два однородных или одинаковых предмета, употребляемые вместе и составляющие

одно целое или комплект': *пара сапог, пара весел, пара крыльев*. В этом же значении слово *пара* входит в ряд фразеологических сочетаний, еще сравнительно недавно широко распространенных в русской речи (а подчас употребляемых и сегодня): *пара платья* — в толковании В. И. Даля, 'полная верхняя одежда, фрак или сюртук с брюками'; *пара чая* — 'порция чаю, подаваемая в двух чайниках — для воды и для заварки'; *пара часов* — применение этого оборота для обозначения одних часов, очевидно, объясняется тем, что когда-то ручные и карманные часы состояли из двух хронометров, один из которых показывал часы, а другой — минуты (подробнее см.: Л. И. Скворцов. Сколько времени? — Какой час? — «Русская речь», 1973, № 6).

По аналогии с данным значением существительное *пара* в современном русском языке нередко используется по отношению к так называемым парным предметам, то есть предметам, которые состоят из двух одинаковых, соединенных вместе частей. Так, говорят (и пишут) *пара брюк, пара ножниц, пара очков*, имея в виду не два, а один предмет. И хотя этот оттенок значения существительного *пара* зафиксирован в толковых словарях с пометой «разговорное», на практике с подобным словоупотреблением можно встретиться и в

периодической печати, и даже, судя по звонкам в «Службу языка», в официально-деловой речи.

С нашей точки зрения, использование слова *пара* по отношению к парным предметам нельзя признать удачным применительно ко всем жанрово-стилистическим разновидностям литературного языка. Слово *пара* в современном русском языке может выступать и в роли числительного со значением 'два'. Поэтому во многих случаях при обозначении парного предмета оказывается неясным, сколько предметов имеются в виду — один или два: «Так последовательно были съедены купленные в Касабланке модельные туфли, гордость помощника капитана, *пара любимых брюк* (чистая шерсть!), исландская дубленка и еще кое-что по мелочам» («Правда», 3 сентября 1978). Поэтому, по-видимому, следует признать целесообразным при наименовании парных предметов или вообще не использовать количественный определитель (*брюки, ножницы, очки*), или употреблять существительные в сочетании с числительным *одни*: *одни брюки, одни ножницы* и т. д. Тогда словосочетания *пара брюк, пара щипцов* и подобные будут вполне однозначно пониматься как *два брюка, двое щипцов*.

Для обозначения количества слово *пара*, помимо значения

'два', может иметь также значение 'несколько, небольшое количество чего-нибудь'. В первом из них оно хорошо освоено русским литературным языком. Об этом говорят, в частности, примеры его употребления в письменной речи: «*Пара примеров*, быть может, поможет лучшему пониманию того, о чем идет речь» (В. И. Абаев. Язык как идеология и язык как техника). Правда, нужно сказать, что в данном значении слово *пара* имеет ярко выраженную разговорную окраску (во всех современных толковых словарях и нормативных справочниках *пара* в значении 'два' сопровождается пометой «разговорное»). Поэтому вводить его в тексты книжного характера, отличающиеся известной строгостью в отборе языковых средств, не рекомендуется.

Вопрос о правомерности употребления в литературной речи слова *пара* в значении 'несколько' (*пара дней, пара часов, пара километров, пара раз, пара слов* и т. д.) возникает у говорящих значительно чаще. При этом «противники» его использования для обозначения неопределенного количества прибегают к различным доводам. Один из наиболее распространенных основывается на мнении о якобы логической неправильности сочетаний типа *пара минут* и *пара слов*: так говорить нельзя, утверждает при этом, поскольку *пара*

значит 'два', а минут или слов может быть больше или меньше — несколько. Подобная точка зрения, разумеется, отличается не только чрезмерной категоричностью в оценке языкового факта, но и излишним «лингвистическим буквализмом». Смысловое развитие слова — нормальное языковое явление. Поэтому не следует видеть в употреблении сочетаний *пара минут*, *пара слов* и подобных лишь результат «забвения» первоначального смысла слова *пара*. Тем более, что далеко не все в языке следует истолковывать «буквально». В русском языке для обозначения неопределенного, обычно небольшого количества употребляются выражения: *одну минутку* (данный отрезок времени не всегда равен 60 секундам); *задержаться на день-другой* (вполне возможно, что дней будет больше, чем два); *перекинуться двумя-тремя словами* (трудно представить диалог, состоящий из трех слов). В этом ряду стоит и слово *пара* в значении 'несколько'. Кстати, В. И. Даль, поместив в Толковый словарь оборот *пара слов* (в выражении *подика на пару слов*), дал ему следующее толкование: 'на два слова, на беседу особицей'.

В русском языке слово *пара* в значении 'несколько' имеет достаточно давнюю традицию

литературного употребления: оно встречается у Пушкина, Вяземского, Тургенева, Лескова и других русских писателей XIX века. На его основе создан ряд устойчивых словосочетаний: помимо указанного *пара слов* можно привести еще *пара пустяков* — 'легко, не требует большого труда, усилия'. В наши дни в значении 'несколько' слово *пара* широко употребляется не только в разговорно-обиходной речи, но и в языке художественной литературы и периодической печати: «Через *пару дней* будет, кажется, одна комната» (Чакковский. У нас уже утро); «Потом *пару раз* француз пытался... придать бою характер фривольного спектакля» («Юность», 1978, № 8). Сниженность его стилистической окраски очевидна (в сравнении, например, с нейтральным числительным *несколько*). И несмотря на это, применение к нему полузапретительной пометы «просторечное», которой оно сопровождается в некоторых современных словарях и справочниках, не отвечает его фактическому положению в языке. В данном значении слово *пара* может употребляться и реально употребляется во всех сферах русской литературной разговорной речи.

С. И. ВИНОГРАДОВ

ОСТРЫЙ — нож, соус, язык

Слово в языке не только называет предмет, выделяя его основные признаки, но и употребляется с другими словами, близкими по значению или сочетающимися с этим словом. Оба эти фактора неразрывны, поэтому слова из одной и той же сферы употребления развивают однотипные значения. Это хорошо видно на примере разных тематических групп прилагательных ощущений. Таких групп в русском языке условно можно выделить пять: «слуха», «вкуса», «осязания», «обоняния», «зрения». Данные прилагательные обладают способностью к регулярному формированию вторичных, переносных значений. Развитие этих значений характеризуется движением от более конкретного признака к более абстрактному, то есть отвлеченные явления уподобляются конкретным, зримым признакам. Таким образом, основным принципом развития переносных значений у прилагательных ощущений является перенос названия на основе сходства эмоциональных ощущений. Проследим это на примерах по всем группам:

С л у х: прилагательное *тихий* (негромкий, неслышный): «Василиса Каппоровна начала говорить с нею таким *тихим* голосом, что Иван Федорович ничего не мог расслушать» (Гоголь. Иван Федорович Шпонька и его тетушка); переносное значение — *тихий* (спокойный, смирный): «Это был человек *тихого* и спокойного нрава, самых мирных наклонностей» (С. Аксаков. Отрывок из семейной хроники).

В к у с — сладкий (имеющий приятный вкус, свойственный сахару или меду): сладкий чай, сладкий пирог; *сладкий* (умильный, угодливый): «Перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим, *сладким*, холопски-почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных» (Чехов. Анна на шее).

О с ы з а н и е — *острый* (остроконечный, заостренный): «Небо почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел паровых винтов, *острыми киями* турецких фелюг и других судов» (М. Горький. Челкаш); *острый* (резкий, вспыльчивый, прямолинейный): «Был он *человек* вспыльчивый, *острый*, грубоватый, но, когда „отходил“, становился молчаливым и стыдился своих резких выходок, подчас смущавших товарищей» (А. Гончаров. Наш корреспондент).

О б о н я н и е — *душистый, крепкий* (издающий сильный, приятный запах): «Мирнады *душистых цветов* и растений разливают в вечернем воздухе свое благоухание» (Григорович. Рыбаки); «В воздухе разлит *крепкий* и нежный, похожий на запах хорошего вина, *аромат* увядающих кленов» (Куприн. Прапорщик армейский).

З р е н и е — *яркий* (сочный, интенсивный, насыщенный): «Все это происходило на фоне двух резко бьющих в глаза *красок*: необыкновенно *яркой*, густой и ровной небесной сини и ярко-желтых песков» (Бунин. Жизнь Арсеньева); *яркий* (незаурядный, колоритный): «Режиссер А. А. Яблочкин — несомненно *яркая* колоритная *фигура* на общем фоне тогдашней режиссуры» (М. Янковский. Оперетта).

Прилагательные со значением температуры, входящие в группу «осязания» — *холодный, жгучий, теплый*, получают вторичное значение — «интенсивность, степень проявления чувств»: *холодный, ледяной взгляд, прием; жгучий стыд; теплое отношение. «Жгучий стыд* ударил ему в виски» (Тихонов. Вамбери); «...до одурения доводила кавалеров в *горячей пляске*» (Карпенко. Тучи идут на ветер); *острый ум, взгляд, слух, острая полемика; твердая воля, твердый характер. «Пламенная душа, деятельный ум, твердая, но еще плохо управляемая воля* могут направить человека к ошибочным действиям» (Эйдедьман. Апостол Сергей).

Рассматриваемые прилагательные имеют переносные значения, связанные с различными сферами жизни и деятельности человека: *горькая доля, судьба, разлука; глухое раздражение; ослепительный успех; едкое замечание; жесткие нормы, правила.* Возможен перепос определенного свойства в сферу другого вида ощущений, например: с осязательных на слуховые, вкусовые, зрительные. Так, прилагательное *острый* в переносном значении «сильно действующий на органы чувств» может употребляться с неодушевленными существительными, называющими запах: *острый запах гнилых яблок*; вкус, продукты питания, имеющие едкий пряный вкус: *острое блюдо; острые приправы; острый соус; острый суп* и т. д. Встречаются и такие сочетания: *острый тонор,*

острая игла, острая горечь, острый вкус, острый взгляд. Прилагательные «осязания» в переносных значениях, таким образом, входят в состав других групп, пополняя и расширяя их. Вот еще примеры: *мягкий снег, звук, вкус, краски, запах; жесткий диван, звук, хлеб, рисунок; тупой нож, удар, звук.* «Тяжелые снаряды тугим громом раскалывались на каменных мостовых...» (Бондарев. Берег).

Сочетания прилагательных ощущений с существительными образуются на основе восприятия человеком одновременно нескольких явлений окружающей действительности: *мягкая чернота, мягкий блеск* — зрительное восприятие и осязательное; *прозрачная тишина* — восприятие слуховое и зрительное ощущение; *жесткий запах* — осязательное ощущение и обонятельное; *жесткие нотки в голосе* — слуховые впечатления и осязательные. «*Штрих* здесь [на картине] по преимуществу *колючий, неровный, тревожный*» (Дорош. Живое дерево искусства); «Я разглядел белое лицо с *мягкими линиями*» (Чехов. Рассказ неизвестного человека); «Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, *тихим голосом* пела иволга, должно быть тоже старушка» (Чехов. Дом с мезонином); «Весь мир *теплый, мягкий*, прозрачно-лучезарный лежал у твоих ног ранним голубым апрелем, обогревая добротой, радостью, ожиданием любви» (Бондарев. Мое поколение).

Способы образования новых значений у прилагательных различны. Одним из способов является метонимический перенос значения (по смежности): *густое небо* (небо густо-синего цвета); *острые звезды* (звезды с острым, резким светом); *жесткие глаза* (глаза с жестким, суровым выражением); *мягкая женщина* (женщина с мягким отзывчивым характером). «Это была *мягкая* сердечная *женщина*, которая знает, как надо тепло и незаметно прикоснуться к человеку» (Гладков. Энергия); «Лес был рослый, *плотный*, ветер проходил над ним, почти не качая стволы» (Павленко. На востоке). Но значительно чаще при формировании переносных значений у прилагательных ощущений используется метафорический перенос (по сходству эмоциональных восприятий, ощущений): *мягкая погода, мягкое внимание, тягучие слова.*

Метафорические значения используются в языке художественной литературы и экспрессивно окрашенной устной речи, они служат для характеристики внутреннего состояния человека, его чувств, окружающей действительности. При метафорическом переносе слово сочетается с необычными для его прямого значения словами: «Было холодно, дул острый, не по-весеннему *колючий ветер*» (Уварова. Однажды); «Детским чутьем я догадывался, что

неожиданный гость предал старую дружбу отца, привез с собой таинственный *колючий страх*, сразу же заметно изменивший жизнь в нашей семье» (Бондарев. Мгновения).

Прилагательное *острый* имеет в своем значении признак 'причиняющий неприятное ощущение, боль'. Этот признак может быть перенесен из физического плана в моральный и тогда формируется метафорическое значение. Таким образом, прилагательное *острый* может употребляться, когда речь идет и о физической боли, и о любом ином болезненном чувстве: *острый стыд; острое чувство стыда, любви, ненависти; острая зависть; острая беспомощность; острая тоска; острая жалость; острая ревность; острая ненависть*. «Если бы ты знала, как мне стыдно! Это *острое чувство стыда* не может сравниться ни с какой болью» (Чехов. Дядя Ваня).

Прилагательное *мягкий* имеет признак 'вызывающий приятное ощущение', поэтому возможен метафорический перенос, в основе которого лежит этот признак: *мягкий жест; мягкое внимание; черты лица мягкие*. «Сейчас его глаза скользили с *мягким вниманием* по лицу сидящей перед ним Марии Осиповны» (Т. Тэсс. Путешествие без спутников). На переносе признака 'прочный, не поддающийся изменениям' основана метафоризация прилагательного *твердый*: *твердый смысл; твердые ответы; твердое слово; твердый человек; твердый нрав, характер; твердое руководство; твердая власть*. «Злой на язык, *твердый* на руку, хваткий в работе, студент был не по возрасту спесив и самостоятелен» (Астафьев. Царь-рыба).

У качественных прилагательных возможности образования метафорических значений различны. Такие прилагательные, как *хороший* и *большой*, имеют почти неограниченную лексическую сочетаемость и почти не поддаются метафоризации. Из прилагательных ощущений ярко выраженной метафоричностью обладает группа «вкуса». «Послышался скрип винтовой лестницы и — шаги жены. Николай Николаевич погасил окурок и сделал *сладкое лицо*» (Л. Н. Толстой. Чудаки); «Добрая, честная женщина способна на бесконечную преданность, в *горьких обстоятельствах* терпению ее нет конца» (А. Островский. Красавец-мужчина).

Одним из способов формирования переносных значений у прилагательных ощущений является синонимическая аналогия. Если одно из слов синонимического ряда имеет сочетаемость более широкую, чем другие его слова, то по аналогии может произойти расширение сочетаемости и других слов ряда. Так, прилагательные *резкий, острый, пронзительный* сближаются в значении 'очень сильно действующий на органы чувств'. При этом связи прилага-

тельного *резкий* почти не ограничены: *резкий звук, свет, цвет, запахи, вкус* и др. Однако *резкий* с прилагательными *острый* и *пронзительный* совпадает не во всех значениях. Под влиянием *резкий* прилагательные *острый* и *пронзительный* утрачивают ограничительный элемент значения и начинают употребляться с более широким кругом существительных: *резкий свет; острый огонь; острая звезда; пронзительная звезда, молния*. Прилагательные *ясный, светлый, тусклый* свободно сочетаются с существительными *день, утро, вечер, ночь, полдень*. Конструкции *ясная осень; светлое лето; тусклая осень, зима* воспринимаются по аналогии с прилагательными *солнечный* и *пасмурный*: *солнечное лето, пасмурная весна*.

У близких по значению слов одной группы возникают одинаковые переносные значения: *острый нож; острая боль, тоска; тупой нож, тупая боль, тоска*.

Переносные значения могут возникать и при окказиональном употреблении, то есть только в данном контексте: «Не спали, пока из ничего не возникли, не поползли липкие туманы и слова сделались *вязкими*, тяжелыми, язык неповоротливым» (Астафьев. Царь-рыба). Окказиональные образования характерны в большей степени для языка художественной литературы и являются одним из средств создания его образности, индивидуализации языка писателя. Прилагательные как бы получают дополнительную эстетическую нагрузку: «В глаза стыдно смотреть, потому прилип к стенке, уткнулся носом в *ворсистый, шероховатый запах* одежды» (Азаров. Становление); «А мы с женой слушали это сообщение покорно, согласно, но тошнотворное чувство *вязкой муки* сдавило мое сердце» (Бондарев. Мгновения); «Серая дрянь в пузырьках, в соришках плавала за веками, но говорил он с той *твердой, каменной отчетливостью*, с какой иногда говорят тяжело нетрезвые люди» (Давыдов. Глухая пора листопада).

Таким образом, прилагательные ощущений, эмоциональные и экспрессивные в своих переносных значениях, обогащают наш язык. Метафоризации подвергаются прежде всего слова, обозначающие наиболее известные понятия. Происходит образование переносных значений у очень активных прилагательных на основе эмоционального восприятия действительности и обмен значениями у этих прилагательных. Кроме того, в языке художественной литературы и в разговорной речи образуются окказионально-индивидуальные значения прилагательных.

Л. А. НЕСТЕРСКАЯ



ТЕРМИНЫ РОДСТВА В РЕВИЗСКИХ СКАЗКАХ

Кто не помнит походов Павла Ивановича Чичикова? В надежде разбогатеть путешествует он по России, скупая у помещиков «мертвые души». У Манилова приобретает их за бесценок, у Ноздрева пытается выиграть, заключает сделку с Коробочкой, Собакевичем, Плюшкиным. Что же это за «ревизские души», которыми так беззастенчиво торгуют персонажи поэмы Н. В. Гоголя?

В начале XVIII века в России была проведена подушная перепись населения, на которой основывались государственные сборы. Перепись была вызвана многими причинами. Северная война ухудшила и без того тяжелое положение народных масс. Для содержания армии и флота устанавливались большие денежные налоги, рекрутская, подворная и другие повинности. Началось массовое бегство крестьян и посадских людей. Количество дворов, на которые были разложены повинности, сократилось. Помещики нередко объединяли несколько крестьянских дворов в один. Доходы

государства резко уменьшились. 22 января 1719 года Сенат отдал распоряжение «Об учинении общей переписи людей податного состояния, о подаче ревизских сказок и о взыскании за утайку душ». В первой половине XVIII века в России проведено две ревизии.

Первичным материалом переписи служила ревизская сказка (слово *сказка* употреблено в значении, теперь устаревшем, — ‘список, реестр’). В ней содержались сведения об отдельном человеке или семье. По этим сказкам умершие крестьяне продолжали числиться в живых до следующей ревизии, когда составлялись новые списки. Вот эти «ревизские души» и покупает Чичиков.

Человек, подававший ревизскую сказку, сообщал о своей профессии, социальном положении, возрасте, количестве детей, внуков, родственников.

Вспомним сцену, когда Собакевич, стремясь получить как можно большую выгоду от сделки, расхваливает свой «товар». Он вспоминает умершего каретника Михеева, который «больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные», Парамона Кирпичника, что «мог поставить печь в каком угодно доме», Максима Телятникова, сапожника, «что шилом кольнет, то и сапоги». Подобные сведения, характеризующие людей по роду занятий и служб, находим в ревизских сказках. «Золотарь Андрей Нефедов работает всякую золотарную церковную и келейную работу», — сообщает один мастер; «Часовод изучился часы заводить», — пишет другой. Упоминаются иконники, источники, квасники, колесники.

Значительную группу в ревизских сказках XVIII века составляют термины родства, которые и будут рассмотрены в статье (здесь использованы материалы первой и второй ревизий, хранящиеся в Центральном государственном архиве древних актов, фонд № 350: сказки Воронежского, Курского, Орловского, Вологодского, Тверского, Ярославского уездов).

В системе родственных отношений в XVIII веке, как и в более ранние времена, различалось *родство* (кровные отношения) и *свойство* (родство по женитьбе). Это различие отражалось в тех случаях, когда податель сказки объяснял причину проживания у него в доме какого-либо лица. О близком, кровном родственнике писали к примеру так: «Живет за родством внук». На свойство указывали, скажем, таким образом: «Живет по свойству тесть». Лица, объединенные кровным родством, именовались *родственниками*: «Ротствѣнники отца моего брата, а мои дядья». Дети, оставшиеся без родителей «в малых летех», сообщали: «Отца и матери ни родственников не паметуеъ»; «Двора и ножитковъ и родственниковъ не имѣю»; «Родственников никого нет». В одних случаях при упоминании о свойственниках указывается, кем приходится

он автору сказки: «Желаю жить у свойственника у зятя своего сестрина мужа»; «Свойственники дядя его двоюродные живут своими дворами». В других случаях уточнений подобного рода не находим: «Живет переходя по свойственникам своим»; «Вырос по свойственникам».

Состоящие в родстве обозначались также словами *сродник*, *сродственник*, *сродич*. Слово *сродник* было распространенным: «Жил у сродника своего»; «У него сродник»; довольно широко употреблялось оно и в деловой речи: «А когда какіе сродніки придуть въ Семінаріумъ, посѣтитъ своего тамо сродніка... и тамо онымъ съ сроднікомъ своїмъ разговаривать» (Духовный регламент).

Сказки свидетельствуют также об употреблении слова *сродственник*: «Онъ живеть у сродственника»; «А иныхъ у меня детей и сродственниковъ нѣтъ»; «Крестянинъ з женою и сродственники бежалъ». В сказках Тверского уезда говорится о *сродичах*: «От отца своего также и от протчих сродичев своих не слыхал».

В более ранних памятниках в значении 'родственник' встречается слово *родимец*: «А что у жены у моей у Фетиньи осталось роду и племени, и нам тое вотчину от тех ото всех родимцов... очищать» (Акты феодального землевладения. 1619). В словарях, вышедших в XVIII веке, это слово не приводится. В ревизских сказках оно употребляется в значении 'уроженец какой-либо местности': «Родимецъ онъ города Белева»; «Родимецъ он города Тулы»; «Родимец де он города Воронежа». То же значение встречаем в XVII веке: «А в допросе тот Ивашка сказал что он родимец Дошиловского города...» (Акты Дедиловской воеводской избы. 1677); «А въ роспросъ тотъ раскольникъ сказался: зовуть де его Гараською Павловымъ, родимецъ де Бѣлозерского уѣзду дворцового села Суцкого стану» (Акты исторические, 1685). В словарях XIX и XX веков это значение слова *родимец* не отмечено. Вероятно, оно не получило широкого распространения, потому что общеупотребительным было слово *уроженец*. В народной речи *родимец* имело и другие значения: так называли, например, любимого приятного человека.

В ревизских сказках широко употребляются хорошо знакомые нам слова: *отец*, *дети*, *сын*, *дед*, *прадед*, *внук*, *правнук*, *брат*. Предки называются *прародителями*. Наименования близких и дальних родственников уточняются определениями *родной*, *двоюродный*, *сводный*: дед родной, дядя родной, тетка родная, сестра родная, брат родной, но двоюродные внуки, дядя двоюродный, племянник двоюродный, брат двоюродный, брат сводный. Определение *родной* применялось и к свойственникам: зять родной, племянник родной, свояк родной, шури́н родной.

В сказке отмечалось также наличие в семье близнецов. Наиболее употребительным для их названия было слово *близнята*, известное с древнерусской эпохи. Так именовались близнецы и в ре-визских сказках на Севере и на Юге: «Братья родные Ларион и Яков близнята»; «Близнята по десяти лет»; «Близнята по три лет». На Юге близнецов называли еще *двойчатками*: «Дети Остах да Давыд двойчатки по осми лет»; на Севере, кроме слова *близнята*, употреблялось еще и *двойники*: «Тимофеи да Иван двойники по году». В «Материалах для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского и «Словаре Академии Российской» (1789—1794) эти слова не представлены. В середине XVIII века, описывая обы-чай обитателей Камчатки, С. П. Крашенинников в книге «Описание земли Камчатки» отмечает: «Двойники у них очень редко рождаются».

Ввиду того, что сказки учитывали только мужское население, наименований по родству лиц женского пола в них немного. Упо-минаются они только в связи с уточнением некоторых данных (женится на матери его; живу у тетки своей; сестра родная): «Женился на внучке ево дѣвке Марѣ».

Неродного отца называли *отчим* и *вотчим*: «Отчим Финоген»; «У меня вотчим Юда Назаров снѣ [сын]»; «У него вотчим Иван Зеленин». В древнерусском языке: *отчим* — «второй муж матери по отношению к детям»; в XVI—XVII веках употребляется и *вотчим*: «Захарка Левин сын Дмитрова да ево вотчим Юшко Иванов сын Шешеня. А послѣ де отца его смерти, мать его, Федосьица, вышла замужъ... за Степашка Свинолуца, и того де вотчима его, Степашка, взял за себя во крестьяне по старинѣ псковской помѣ-щик Иванъ Карловской» (Словарь русского языка XI—XVII вв.). Слово *вотчим* встречается в современных говорах.

Неродной сын, как и теперь, называется в сказках *пасынком*, неродная дочь — *падчерицей*. Отношения между детьми, имеющими разных родителей, выражаются прилагательными *сводный*, *сведен-ный*. Сводными считаются братья и сестры, когда отец одного и мать другого вступают в брак: «Сведенной братъ Артемъ Ларионов снѣ Мартиновъ сшол к Василью Манохину»; «Прибылъ у меня Андрея сведенной брат». Если братья и сестры имели различных отцов при одной матери, они назывались *одноутробными*: «Одно-утробныя а не одним отцомъ Петръ Андрѣевъ Максимъ Тимофеевъ».

В ре-визских сказках получило отражение слово *сиротство* — наименование приемных детей, взятых на воспитание. Наиболее распространен был прием в дом малолетних родственников, оставшихся без родителей. Приемными могли быть и чужие дети, поте-рявшие отца и мать: «У него жъ попа Василя взятые племянники за сиротство»; «Сиротства ради и скудости и малолетства жил по

разным людямъ»; «За сиротством жил и вырос по свойственнику». Многочисленны упоминания о *сиротах*: «У меня из сирот гончарской сын»; «У меня ж живет сирота». Ребенок, принятый в дом, именовался всюду *приемышем*: «Приемышъ сирота взятой для препитания»; «Приемыш из сиротства со младенчества»; «Приемыш которой взятъ во младенчестве»; «Они пришедъ въ убожество, приемыша своего изъ дому маленькова отдали другимъ, которыхъ ево не приемышемъ, да только изъ одново челоуѣколюбія возрастили» (Сумароков. Сочинения, 1787). В северновеликорусских уездах приемыша могли называть и *приемщиком*: «Других детей и приемщиковъ никого нѣтъ». В Вологодской ревизской сказке говорится: «У него приемщикъ вместо сына».

Женщины, оставшіеся вдовами, потерявшие кормильца, разорившіеся от непосильных налогов крестьяне и посадские люди иногда отдавали детей на воспитание в другие семьи. О тяжелой судьбе одного из таких воспитанников рассказывает воронежец Федор Телков: «Дядя мой двоюродной Трафим Ивановъ сынъ Тялковъ отдал меня... Даниле Васильеву сыну Мелехову и жилъ у него два года и в прошлых годахъ незнаема какие люди увезли меня в Москве и учили [начали] меня продавать и не продавъ меня в Москве покинули». Дети, принятые временно на воспитание, назывались *вскормлен(н)иками*. Так, в Орле посадским человеком «былъ взятъ для вскормления» сирота Михаила. «Приемышъ у меня Максимъ десяти Никита пяти лѣтъ,— сообщал в сказке поп Никифор,— а оныхъ приемышевъ Максимовъ оцъ [отецъ] а Никитина мать отдали от рождения мне Никифору проча в сыны вскормить и грамоте научить». *Вскормленник* в значении 'воспитанник, питомец' упоминается в словарях, встречается в памятниках деловой письменности: «Всего исковскихъ ямщиковъ и ихъ дѣтей, и братья, и племянниковъ, и приемышевъ, и вскормленниковъ, и у нихъ дѣтей 194 челоуека» (Словарь русского языка XI—XVII вв.); ср. в поговорке: «У бездетныхъ и вскормленники право детей получаютъ» (Словарь Академии Российской).

Приемными становились и дети неизвестных родителей. Ихъ называли *подкидышами*. Из регизских сказок узнаем: «У него ж Степана поднятой подкидышъ»; «Подкидышъ которой у него Ермола окрещен и воспитан». На Севере в значении 'подкинутый младенецъ' бытовали слова *подметыш*: «Подметышъ Василии семи летъ»; и *найденыш*: «Ефимъ Матвеевъ найденышъ в бѣгахъ».

Ревизские сказки хорошо представляют прошлое состояние терминологии свойствъ. В настоящее время все реже и реже употребляются такие наименования, как *шурин* 'братъ жены', *деверь* 'братъ мужа', *тесть* 'отецъ жены', *свекор* 'отецъ мужа'. В XVIII веке в народной среде они были обычны.

Родители молодых, вступивших в брак, мужья сестер именовались *своями*, сестру жены называли *своячиной*, *свояченицей*. Слово *своячина* было литературным еще в середине XIX века, а теперь оно является диалектным. Жёну сына именовали *снохой*: «Женился на снохе моеи сна [сына] моего на бывшей жене»; также могли называть и жену брата. В этих же значениях употреблялось и слово *невестка*. В одной из воронежских ревизских сказок говорится, что крестьянами младших братьев владела жена старшего брата, их невестка. Мужа дочери и мужа сестры называли *зятём*: «У неи зять Ермол Лопшев снъ Давыдовъ которои женился в дом к неи на дочери ея»; и «Желаю жить у зятя своего сестрина мужа».

Термины родства близки по существу к современным. Следует отметить устойчивость старинных наименований *отец*, *мать*, *брат*, *сын*, *дед* и др. А некоторые слова, бывшие общеупотребительными, в настоящее время встречаются только в говорах: *близнята*, *вотчим*, *своячина*, *сродник*, *сродственник*; другие считаются устаревшими: *найденыйш*, *внука*. Однословные термины свойства заменяются описательными названиями: *муж дочери* (зять), *брат жены* (шурин), *брат мужа* (деверь) и др. (о терминах родства и свойства в современном русском языке можно прочитать в статье Т. А. Сумниковой. — «Русская речь», 1969, № 2).

О. М. ШАГАПОВА
Пенза

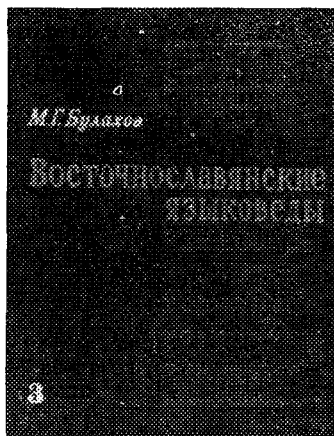
Издательство «Наука» выпустило в свет книгу «Памятники русской письменности XV—XVI вв. Рязанский край». Это первое издание текстов делового содержания средневековой Рязани.

«Этимологический словарь летописных географических названий Украины» — так будет называться уникальное издание, которое начали готовить сотрудники Института языкознания АН УССР. Основная цель работы — исчерпывающе объяснить происхождение древнерусских наименований Украины: различных территорий, поселений, водных объектов, дорог и урочищ, зафиксированных летописцами. Словарь охватит период с древнейших времен до начала XIV столетия. Всего предполагается объяснить происхождение около тысячи названий.

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

В августе 1978 года накануне VIII Международного съезда славистов в издательстве Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина вышел последний том трехтомного биобиблиографического словаря «Восточнославянские языковеды», приуроченного к этому событию (первый том выпущен в 1976 году, второй — в 1977 году; информации о них см.: «Русская речь», 1977, № 1; 1978, № 5).

Первоначально словарь предполагалось издать как однотомный справочник, посвященный развитию славистической и общезыковедческой мысли в России, Белоруссии и на Украине в дореволюционный период (XVI век — 1917 год). «Однако, — отмечает автор словаря профессор М. Г. Булахов, — в ходе разработки данной темы стало очевидным, что указанными рамками нельзя ограничить рассмотрение многовековой истории восточнославянского теоретического и практического языкознания. Несмотря на значительные успехи в исследовании русско-



го, белорусского, украинского и других славянских языков в дореволюционное время, следует признать, что только в новейший период определились методологические принципы изучения словарного состава, звукового и грамматического строя этих языков, базирующиеся на диалектико-материалистическом понимании языка как особого общественного явления. Кроме того, в дореволюционный период выработке правильного подхода к изучению белорусского и украинского языков в огромной степени препятствовала реакционная политика царского правительства, не допускавшего признания самостоятельности белорусской и украинской наций и их языков. Только марксистско-ленинское учение внесло ясность в этот вопрос, послужив исходной научной теорией при исследовании всех сложных проблем развития как современных языков, так и их исторического взаимодействия» (т. 3, с. 366).

В большинстве своем статьи словаря посвящены языкове-

дам-славистам, деятельность которых протекала и была связана с научными и учебными заведениями России, Белоруссии и Украины. За период более 300 лет в изучении восточнославянских языков, и особенно русского, заметный след оставили также писатели, историки, археологи, палеографы, литературоведы, критики. И с ними знакомит нас автор словаря, подчеркивая их роль в развитии лингвистической науки.

Каждая словарная статья — это краткий или довольно обстоятельный очерк жизни и деятельности ученого. Он включает биографические данные, перечень основных трудов с указанием даты написания или опубликования, критический анализ наиболее важных работ, обширную библиографию публикаций об ученом, о его жизни, научной, педагогической и общественной деятельности.

Знакомясь со словарем, не перестаете восхищаться той титанической работой, которую проделал М. Г. Булахов, по крупицам собирая материал о каждом ученом. Ведь автору словаря пришлось столкнуться с тем, что не существует пока сплошной исторической библиографии ни по отдельным языкам, ни в целом по славянской группе языков. Нет и достаточно полного собрания персоналий языковедов.

Чтобы получить биографические и библиографические сведения, автор использовал множество разнообразных источников: историографические, библиографические и филологические обзоры, монографические исследования по истории языкознания, работы по истории научных учреждений и учебных заведений, биографические словари

писателей, ученых и общественных деятелей, энциклопедические словари и т. п.

Все эти обширные сведения, богатый многолетний опыт преподавательской деятельности помогли М. Г. Булахову доходчиво, четко, ясно, живо изложить биографические факты и важнейшие моменты научной и общественной жизни ученых. Эти книги и по сути, и по форме увлекут и заинтересуют широкого читателя. Польза их несомненна как для специалиста-языковеда, так и для любителя языка; они станут прекрасным пособием для вузовских курсов по истории славистики в СССР.

Нельзя не отметить прекрасное полиграфическое исполнение этого издания. Удобный для чтения шрифт, четко выполненные портреты ученых (многие из них воспроизведены впервые), снимки факсимиле титульных листов книг — все это тоже радует читателя. Но вот тираж словаря вызывает огорчение: первый том — 4500 экземпляров, а второй и третий — вышли в количестве, почти вдвое меньшем, — 2500. Конечно, первый том имеет самостоятельное значение. Но читатели хотят иметь все три тома!

«Восточнославянские языковеды» — первый большой отраслевой лингвистический биобиблиографический словарь в отечественном языкознании. От лица многих и многих благодарных читателей хочется сказать, как полезен, нужен, интересен и своевременен этот капитальный труд М. Г. Булахова, и выразить надежду на скорое его переиздание.

С. Е. МОРОЗОВА



Романтизм как эпоха европейской духовной культуры конца XVIII – середины XIX века явился своеобразной реакцией общества на Французскую буржуазную революцию. Огромные потрясения в жизни европейских народов, связанные с переходом от одной общественно-экономической формации к другой, надежды на лучшее новое и стремление познать его пробуждают интерес к истории, народным преданиям, древним литературным памятникам. Самые различные явления в природе и обществе впервые начинают объясняться как продукты исторического развития. На этой же почве возникает и сравнительно-историческое языкознание.

Возникновение сравнительно-исторического метода, поставившего задачу изучить языковые явления в их историческом развитии, потребовало совершенно нового фактического материала, взятого не только из литературных произведений, но и из просторечия, народных говоров и особенно из древних памятников. Поэтому одной из первых задач нового направления в науке о языке было описание и издание памятников древней письменности.

В России особенно огромную роль в этом сыграл румянцевский кружок (1811–1826), в который входили Н. М. Строев, К. Ф. Калай-

дович, Е. А. Болховитинов (митрополит Евгений), А. Х. Востоков, И. И. Григорович. По выражению И. И. Срезневского, «то был кружок людей науки на Руси первый по времени или по крайней мере по значению и связности. Преданные науке и отечеству, беспристрастно уважающие труды друг друга, рассеянные по разным местностям широкой Руси, очень различные по общественному положению и по возрасту, они тесно были связаны направлением мыслей и перепиской друг с другом» (Переписка А. Х. Востокова в повременном порядке с объяснительными примечаниями И. Срезневского). Создателем и душой кружка был Н. П. Румянцев.

Николай Петрович Румянцев (1754—1826) — видный государственный деятель, проявлял большой интерес к русской истории, культуре. Оставив государственную службу, Румянцев все свои силы посвятил собиранию и публикации древних литературных памятников. По его инициативе при Московском архиве иностранных дел создается специальная комиссия для печатания государственных грамот и договоров. Румянцев пожертвовал на это предприятие значительные суммы, чтобы собрание представляло собой не только верное издание актов, но и содержало палеографические снимки с грамот по столетиям. Он сам просматривал все памятники, определял состав сборника, устанавливал порядок печатания, тщательно прочитывал корректурные листы.

В 1813 году вышел первый том «Собрания государственных грамот и договоров». Увидев, что туда не вошли многие важные документы, Румянцев предписал комиссии заняться поисками других актов, касающихся внутренних дел России. Из этих материалов составились второй, третий и четвертый тома (1819, 1822, 1828). Всего в четыре тома вошло 936 документов, подавляющее большинство которых до этого вообще не было известно науке. Хотя это издание преследовало в первую очередь исторические цели, оно одновременно сделало доступным целый ряд древних текстов и для языковедов. В то же время оно послужило отправной точкой для последующих публикаций.

После выхода первого тома «Собрания государственных грамот и договоров» Румянцев еще больше увлекся собиранием древних памятников. В августе 1819 года он пишет Малиновскому: «Моя страсть к российским древностям умножается и в глубокой старости все прочие страсти заменяет» (Переписка государственного канцлера графа Н. П. Румянцева с московскими учеными). Он не удовлетворяется изданием архивных актов и начинает серьезно думать о широком собирании древних памятников в России и за границей. По его поручению осматриваются Британский музей, парижские, кенигсбергские, венские и берлинские архивы, отыскиваются новые рукописи, делаются из них выписки. В 1819 году

Румянцев знакомится с приехавшим в Москву Вуком Караджичем и договаривается о том, чтобы сербский ученый объехал все славянские земли с целью отыскания исторических документов и летописей. Однако по разным обстоятельствам Караджич не смог выполнить своего обещания.

Румянцев вел переписку почти со всеми, кто занимался русской историей и древностями. Он оказывал ученым материальную и моральную поддержку, поощрял их научные стремления, сообщал о всех новинках, деликатно указывал на допущенные промахи.

Со всех концов России ему присылались летописи, списки различных грамот, выписки из рукописей, каталоги монастырских библиотек и архивов. Но для удовлетворения его археографической любознательности и этого было мало. Несмотря на преклонный возраст, глухой и полуслепой, он сам отправляется на поиски в разные города (Новгород, Москву, Киев), посещает нижегородскую и гомельскую ярмарки, путешествует по монастырям и городищам. И всюду Румянцев не упускает случая приобрести рукописи, старопечатные книги, монеты. Круг его интересов расширялся с каждым годом, постепенно включая зырянскую азбуку, сибирские надписи, кресты, иконы, печати, татарские письма, карты. К собиранию, описанию и изданию памятников Румянцев привлекает П. М. Строева, К. Ф. Калайдовича, И. И. Григоровича, затем митрополита Евгения и А. Х. Востокова.

Павел Михайлович Строев (1796—1876) был приглашен на должность главного смотрителя в комиссии печатания государственных грамот и договоров в 1815 году. Он участвовал в подготовке издания второго и третьего томов.

В 1817 году Румянцев поручает Строеву вместе с Калайдовичем осмотреть и описать монастырские библиотеки московской и калужской епархий. В течение нескольких лет они совершили ряд поездок по разным местам. В результате этого появились описания рукописей Волоколамского Иосифова монастыря, воскресенского Нового Иерусалима, Звенигородского Саввина монастыря. Были найдены Изборник Святослава 1073 года, Судебник Ивана III, сочинения Кирилла Туровского и митрополита Илариона, постановления московских соборов 1503, 1547 и 1554 годов и множество разных актов XV—XVI веков.

В 1819 году Строев вместе с Калайдовичем опубликовал «Законы великого князя Иоанна Васильевича и внука его царя Иоанна Васильевича». Ученые стремились издать памятники с максимальной точностью. К тексту издателя приложили список погрешностей, встречающихся в рукописи, и свой вариант чтения. По отзыву И. И. Срезневского, «это первое из хороших и одно из лучших изданий памятников русского законодательства» (И. И. Срезнев-

ский. Труды П. М. Строева.— Записки имп. Академии наук, т. VI, 1865).

В 1820—1822 годах Строев издает «Софийский временник» и по состоянию здоровья уходит из комиссии печатания государственных грамот и договоров.

Константин Федорович Калайдович (1792—1832) рано проявил большие способности к изучению русской старины. Уже в 1813—1814 годах им были открыты многие важнейшие памятники, послужившие основой для позднейших исследований (сочинения и переводы Иоанна экзарха Болгарского, Евангелие 1144 г. и др.) В конце 1814 года Калайдович совершил путешествие во Владимир, где собирал рукописи, книги и различные редкости. [Там у него произошло столкновение с полицией. Отец, чтобы спасти сына от наказания, объявил его сумасшедшим и отправил в дом для умалишенных, а затем перевел в монастырь.]

Как только К. Ф. Калайдович очутился снова в Москве, он занялся осмотром и описанием рукописей Новоспасского и Даниловского монастырей. В 1817 году Румянцев пригласил его участвовать в издании «Собрания государственных грамот и договоров». После этого большинство научных вопросов, возникавших перед Румянцевым, разрешалось Калайдовичем. Он постоянно приобретал для графа редкие книги, рукописи, монеты. Румянцев очень высоко ценил эрудицию Калайдовича, его умение открывать и описывать древности.

В 1821 году Калайдович издает «Памятники российской словесности XII в.», куда вошли произведения Кирилла Туровского, Моление Даниила Заточника, Послание митрополита Никифора Владимиру Мономаху и др. Летом 1822 года Калайдович сопровождал графа в его поездке. По дороге они посетили Новоерусалимский монастырь, где открыли Пандекты Антпюха и ряд других рукописей.

В 1824 году выходит самый значительный труд Калайдовича — «Иоанн, экзарх Болгарский. Исследование, объясняющее историю словенского языка и литературы IX и X столетий». В приложении были напечатаны Сказание о письменах черноризца Храбра, словарь непонятных и иностранных слов и другие материалы. Этот труд, освещавший происхождение славянской письменности и деятельности Кирилла и Мефодия, представлял собой наиболее совершенное для того времени издание важных древних памятников. Здесь же сообщалось много новых сведений по историко-литературным, палеографическим и грамматическим вопросам. С. К. Булич справедливо отмечал: «Книга Калайдовича — лучший и наиболее зрелый плод его научной деятельности. материалы для которого „приготавливались“ еще с 1813 г., явилась таким образом настоящим

событием в нашей научной литературе, вполне самостоятельным по содержанию и методу и свидетельствовавшим о бесспорном и неожиданном росте русской науки» (С. К. Булич. Очерк истории языкознания в России, СПб., 1904).

В 1824 году Калайдович был допущен к описанию Синодальной библиотеки. Но он успел описать лишь 101 рукопись. Преждевременная смерть оборвала жизнь этого талантливого ученого.

Иван Иванович Григорович (1792—1852) еще юношей познакомился с Румянцевым в Гомеле. Румянцев высоко оценил его знание древних языков и истории и стал давать ему различные научные поручения. Желая приготовить Григоровича к ученой карьере, он отправил его на свой счет в Петербургскую духовную академию. Не без влияния Румянцева Григорович занялся историей, археологией и филологией, вступил в переписку с митрополитом Евгением, Калайдовичем, Малиновским. В 1821 году он опубликовал «Исторический и хронологический опыт о посадниках новгородских», где были приведены извлечения из древних русских летописей. Книгу высоко оценили Востоков, Строев и Калайдович. Но наибольшую известность получил его «Белорусский архив древних грамот» (1824), в котором было опубликовано 57 памятников деловой письменности на белорусском, польском и латинском языках с историко-филологическим комментарием. После этого Григорович много трудился над составлением «Словаря белорусских наречий», редактировал «Акты исторические» и «Акты, относящиеся к истории Западной России», которые издавались Археографической комиссией.

Ефим Алексеевич Болховитинов (митрополит Евгений) (1767—1837) учился в Московской духовной академии и одновременно слушал лекции в Московском университете. Пребывание в различных краях России, куда его переводили по службе, он использовал для исследований в области истории и древностей. Сам ездил по монастырям, изучал архивы, снимал копии со многих книг и грамот. В Новгороде он начал печатать «Новый опыт исторического словаря о российских писателях», на основе которого был потом издан «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина» (1818). В Вологде митрополит Евгений изучал древние рукописи, дал описания Вологодского бумажного евангелия XV века, пергаменной псалтыри XIII века, Вологодского пергаменного апостола XIII века и других памятников. В «Вестнике Европы» он опубликовал ряд работ: о грамотах, личных именах, славяно-русских типографиях, новгородских древностях.

В 1816 году митрополит Евгений переехал в Псков, где занялся псковскими древностями и подготовкой к печати Мстиславовой грамоты (около 1130 г.), которая была им отыскана в куче гнилых

архивных бумаг Юрьева монастыря. На основании изучения псковских грамот и летописей митрополитом Евгением была написана в четырех частях «История княжества Псковского» (1831).

Строгий критик, трудолюбивый, преданный науке, митрополит Евгений пользовался широкой известностью среди любителей старины. К нему постоянно обращались за советами и указаниями Румянцев, Востоков, Кеппен и многие другие. Недаром И. И. Срезневский писал о нем в своих воспоминаниях: «Он один из немногих первых, внесших и укрепивших у нас научную требовательность в исследованиях и оставивших по себе множество трудов, достойных всякого уважения. Не так громко его имя, как имя Карамзина; не соединяется с такими открытиями, переменяющими понятия в науке, как имя Востокова; но будет вместе с ними одинаково памятно» (И. Срезневский. Воспоминание о научной деятельности Евгения, митрополита Киевского. — Сборник ОРЯС, т. V, вып. 1, 1868).

Александр Христофорович Востоков, уже известный поэт и автор знаменитого «Рассуждения о славянском языке», перешел на службу к Румянцеву в 1823 году. Он должен был составить каталог библиотеки, приступить к написанию славяно-русской палеографии и подготовить к изданию Изборник Святослава. В связи с этим митрополит Евгений писал Румянцеву: «Поздравляю В[аше] С[иятельство] с приобретением Востокова. В службе при Вас он больше пользы принесет нашей словесности. Но сверх обязательства о составлении русской палеографии, я бы желал, чтобы он прежде описал все рукописи Вашей библиотеки. Описывая их, он еще больше сделает замечаний и для палеографии» (Переписка митрополита киевского Евгения с государственным канцлером графом Николаем Петровичем Румянцевым и с некоторыми другими современниками, Воронеж, 1872).

Работая над описанием и изучением рукописей, Востоков вел оживленную переписку с Калайдовичем. В письмах они постоянно сообщали друг другу о новых открытиях и наблюдениях, делились сомнениями, обменивались выписками, обсуждали спорные вопросы, образцы статей.

В 1837 году Востоков закончил «Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума» (вышло в 1842 г.). В собрании Румянцева было 732 рукописи, из которых славяно-русских — 473. Две рукописи относились к XII веку, 10 — к XIII, 21 — к XIV, остальные же более позднего происхождения. Описание Востокова расположено по азбучному порядку заглавий. Он указывает названия статей, находящихся в рукописях, отмечает писчий материал, формат, число листов, почерк (уставный, полууставный, скорописный), время, содержание, виды сокращений, изображения,

приписки, замечания писцов, переводчиков и сочинителей. Даются выписки наиболее примечательных мест с сохранением всех старинных форм языка и правописания. Все это сопровождается подробными историческими, грамматическими и палеографическими примечаниями. Большое внимание Востоков уделяет орфографическим особенностям памятников. Он выделяет три вида правописания: русское, болгарское и сербское. На основе этого все древние кирилловские памятники делятся на четыре вида: старославянский, болгарский (поздний), сербский и русский. Позднее, когда произведение расходится за пределами своей страны, в нем начинает проявляться и влияние других языков. Поэтому среди позднейших памятников Востоков различает рукописи болгарского правописания с русским влиянием, русского правописания с болгарскими особенностями, сербско-болгарские списки и т. д. Такой подход создавал возможность представить систему старославянского и церковнославянского языков в более сложном виде и историческом развитии.

Востокову наука обязана повышением уровня требований к описанию рукописей, доказательством необходимости давать место исследованиям. Его опыт не имел себе равных и служил образцом для последующих описаний. Восточеских принципов потом придерживались Буслаев, Срезневский, Горский, Невоструев и другие ученые. Так постепенно создавалась та научно-лингвистическая база, на которую опиралась и из которой вырастала история русского языка.

В январе 1826 года Румянцев скончался. И с этого времени кружок начал распадаться, хотя многие его члены и продолжали работать, но уже в одиночку, без взаимной нравственной поддержки.

Кружок Румянцева просуществовал недолго, однако велики его заслуги перед русской наукой. Благодаря ему были открыты многие древние рукописи, даны образцы их палеографического описания и научного издания, сделаны первые опыты историко-литературной и лингвистической разработки славянских и древнерусских памятников. На средства Румянцева было издано 26 названий книг, собрано 782 рукописи и около 40000 книг. Все свои собрания он завещал «на пользу отечества и благого просвещения», на основе чего был открыт в 1831 году в Петербурге Румянцевский музей, переведенный в 1861 году в Москву и вошедший позже в состав Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

С. В. СМЕРНОВ
Тарту

Рисунок В. Комарова



ОСОБЕННОСТИ СТАРИННОГО РУССКОГО ПИСЬМА



огда в современных учебниках русского языка мы читаем о том, что для обозначения безударных гласных в корнях слов пишутся те же буквы, которые обозначают в этих корнях гласные под ударением, то всё здесь кажется понятным: в корне слова *гора* надо писать *о*, потому что *о* пишется в словах *горный*,

горка. Конечно, с применением этого

правила на практике возникает множество всяких трудностей, но само правило понятно всем. То же самое и с пунктуацией: если в правиле сказано, что между однородными членами предложения при бессоюзной их связи ставится запятая, это не означает, что она может быть поставлена, а может её и не быть! Вся система современного письма строится по схеме «нельзя-нужно»: для обозначения безударного *а* в корне слова *сады* нельзя писать *о*, в корне слова *гора* — нужно; при соединении одно-

родных членов неповторяющимся соединительным союзом нельзя ставить запятую, в других случаях — нужно. На первый взгляд кажется, что иначе и быть не может, что и говорить тут не о чем.

Но присмотримся к старинным русским текстам. древним и средневековым. Возьмем Остромирово евангелие 1056—1057 годов. Здесь для графического обозначения *о* применяются две буквы: *О* и *ѡ*. После согласных *ѡ* не употребляется, поэтому пишется *О*. После гласных и в начале слов *ѡ* встречается — но встречается и *О*! И для древнерусских памятников это типичная ситуация: *ѡ* после согласных запрещена, но буква *О* в начале слов и после гласных не запрещена. Правда, в некоторых текстах выбор *О* — *ѡ* в этих положениях как-то регулируется: например, в Путятиной минее (XI в.) *ѡ* пишется тогда, когда перед этим уже была буква *О*, чтобы избежать стечения двух *О* (минее — книга, содержащая в себе текст служб в православной церкви на все дни каждого месяца в календарном порядке). По мере исторического развития древнерусской орфографии наблюдается постепенное вытеснение *О* после гласных и в начале слов. И все же, если сформулировать правило употребления этих букв, общее для всех древнерусских памятников до конца XIV века, оно будет таким: *после согласных ѡ писать нельзя, в остальных случаях — можно* (но можно писать и *О*). С конца XIV века норма написания меняется, но принцип её построения остается тем же: теперь уже *О после гласных и в начале слов писать нельзя, а после согласных — можно* (но можно и *ѡ*). Аналогичные нормы действуют и в отношении других дублетов (букв с одинаковым звуковым значением), известных старинному русскому письму: *И* и *І*, *ОУ* и *У*. Так, во втором почерке Новгородской 1-й летописи (нач. XIV в.) после согласных видим только *И*, в начале слов и после гласных — как *И*, так и *І*. Впрочем, типичным для древнерусских памятников является другое употребление *І*: чаще всего это начертание встречается в конце строки, однако опять-таки наряду с *И*. Любопытно и употребление *ОУ* — *У*: *в начале слов и после гласных пишется только ОУ, а после согласных употреблены оба начертания*. Несколько иными были в старинной русской письменности отношения между буквами *ѣ* и *Ѥ*: можно сказать, что это «синонимичные», но не дублетные буквы, так как *ѣ* обычно передает звук [ja], значение же *Ѥ* шире — [ja] и [a] с мягкостью предшествующей согласной фонемы. (Такие два значения имеем у современной буквы я.) Тем не менее и здесь мы сталкиваемся с той же «однонаправленностью» древней нормы: в значении [a] после мягких — один из знаков, в значении [ja] — оба (а не другой из них, как ожидалось бы).

Обратимся к несколько иному участку орфографической системы — прописным (заглавным) начертаниям букв. В древнейших

памятниках прописными начинаются лишь большие отрезки текста: главы, абзацы. Постепенно складывается употребление прописных в начале предложений. В «Грамматике» Мелетия Смотрицкого (1619) уже есть правило об употреблении прописных в начале стихотворных строк, имен собственных, титулов знатных лиц, а также научных терминов. Однако сам грамматист употребляет прописные начертания в этих разрядах слов не всегда, и это дало повод некоторым исследователям упрекать его в непоследовательности. Между тем, когда средневековый автор говорит, что прописные буквы употребляются в начале определенных слов, то это значит лишь, что другие слова начинать прописными нельзя, но не значит, что перечисленные следует обязательно начинать прописными. В этом отношении особенно показательно московское переиздание названной «Грамматики», осуществленное в 1648 году. Правила о прописных там те же самые, а в тексте заглавные буквы встречаются лишь в начале предложений: очевидно, издатели не сомневались в факультативности этих правил.

Отмеченная «однонаправленность» норм старинного письма не случайное качество отдельных орфограмм, а особенность всей его системы. Мы уже имели случай рассказать читателям «Русской речи» о принципе нашей старинной пунктуации (№ 2, 1978). Древнему и средневековому писцу основанием для постановки знака препинания служило наличие синтагматической границы в виде паузы между частями предложения. Знаки ставились только на концах указанных границ в предложении, но, вместе с тем, эти границы могли оставаться и необозначенными пунктуационно. Напрасно считать такие факты ошибками или «непоследовательностью»: это не нарушение принятой нормы, а особенность старинного её понимания. То же касается выбора знака препинания в текстах, где их несколько. Например, тот же Мелетий Смотрицкий употребляет довольно большое число разнообразных знаков. Среди них есть такие, как черта и запятая. В правилах сказано, что черта ставится после интонационно выделенного («восторгненного») слова, не отделенного от следующего паузой («отдыхом»), а запятая — если есть также и пауза. Мы, со своими современными привычками, конечно, понимаем это правило так: есть пауза — ставь запятую, нет паузы — ставь черту. Однако автор «Грамматики» понимает, видимо, иначе; во всяком случае, ее текст дает основание так считать. При отсутствии паузы действительно ставится черта и только черта, но перед паузой могут быть и черта, и запятая.

Трудно сказать, как развивалась бы дальше наша письменная норма, если бы не реформаторское вмешательство Петра I. Наблюдения над некоторыми текстами XVI—XVII веков приводят к мыс-

ли о том, что в области безударных гласных в этот период начинает складываться такое правило: если под ударением в морфеме (корне, суффиксе, приставке или окончании) слышится [а], то в безударном положении в этом слоге следует писать а, если под ударением — [о], то в безударном слоге можно писать и о, и а. Конечно, правило это нигде не было зафиксировано, да и сложиться оно до конца не успело, но факт состоит в том, что средневековые русские писцы часто писали а вместо «правильного» (по нашим понятиям) о, но при всем том очень редко писали о вместо «правильного» а. Правда, преобладающими к началу XVIII века оставались в русской орфографии всё-таки написания, отвечающие главному, морфологическому, принципу, суть которого, как известно, в том, что общие для родственных слов значимые части (морфемы) сохраняют на письме единое начертание, хотя в произношении различаются в зависимости от фонетических условий, например: *подводный*, но *вода*: под ударением [о], в безударном положении [а], но в морфеме сохраняется единое написание о. Вот почему и новая, гражданская, орфография сложилась на базе этого принципа.

Введение гражданской азбуки Петром I в 1708 году обычно считают реформой графики, а не орфографии: ведь она заключалась, главным образом, в изменении рисунка букв да в устранении нескольких букв-дублетов. Последнее обстоятельство затрагивает также и орфографию: исчезновение дублетов повлекло к исчезновению связанных с их употреблением орфограмм. А самое главное — именно с этого времени норма письма стала строиться по привычной нам схеме «нельзя-нужно»: «здесь пиши то, а там другое» вместо прежнего «здесь пиши то, а там или то, или это».

Отмеченная «однаправленность» не говорит, однако, о том, что в древних и средневековых текстах совсем нет орфограмм, которые подчинялись бы «двунаправленной» норме. (Кстати, и «двунаправленность» современной системы правил тоже не абсолютна: например, при стечении согласных букв в начале корня первую букву нельзя отрывать переносом, а не первую — можно, но можно и не отрывать, например, мы переносим только *по-звать*, однако же не только *ре-зво*, а и *рез-во* и т. п.). Речь идёт не об абсолютности, а лишь о большей типичности. При этом важно данную черту всё-таки учитывать и постоянно о ней помнить. Забывая об этой особенности старинных правил, исследователи рискуют обнаружить непоследовательность писца там, где её нет, смешать мнимые нарушения норм орфографии и пунктуации с действительными.

Б. И. ОСИПОВ
Ижевск

«СОБИРАЛ ЧЕЛОВЕК СЛОВА...»

Жил на Урале интересный человек — Владимир Павлович Бирюков (1888—1971). Он был по образованию ветеринарным врачом и ученым-археологом, а по призванию и по практической деятельности — краеведом или, как он сам себя называл, собирателем. Он собирал все, что связано с человеческой культурой, от древнего глиняного черепка до автографов наших современников. Собранное В. П. Бирюков превращал в книги, в архивы, в музеи. С особенной любовью он собирал слова.

Началось это с детства. Вот как позже Владимир Павлович вспоминал: «У матери в говоре было много необычных для литературной речи слов, как: *баруль* — ‘невежа, грубиян’; *сайгать* — ‘рыскать, бегать’; *шамела* — тот, кто всем мешает на дороге. Нас, очень резвых парней, матушка то и дело называла *сломигольбыми*, *вертошáрыми*, а если зимой не закрыли плотно входных дверей — *полодырыми*. Если кто-либо из нашей ребячьей оравы слишком загрязнил рубаху, мать укоризненно выговаривала: „Пашка, рубаха-то у тебя — присеки́ огня“, то есть настолько грязная, что даже днем, чтобы рассмотреть рисунок на ткани, надо „высечь огня“».

В словаре отца необычных слов было меньше, зато чаще встречались старинные, вроде: *комонь* — ‘конь’, *источник* — ‘любитель’ («Я не источник на сладкое-то»). Мамин-Сибиряк использовал это слово в своих произведениях, включая его в собственную речь героев.

Речь родителей изобиловала пословицами, поговорками, особенно речь матери. «Велик верблюд — да вода возить, мал сокол — на руке носить» (оборот «вода возить» образован по типу «земля пахать», где существительное употреблено в именительном падеже вместо винительного;





В. П. Бирюков за работой над словарем уральских говоров

известен еще в древнерусском языке и сохранился в некоторых говорах); «Ума-то палата, дичи – Саратовская степь». «Надо встать, да и голос дать» – о необходимости рано вставать. Про отца мать часто говорила: «Напьется – с царем дерется, проспится – свиньи боятся» («Уральская копилка», Свердловск. 1969). Вот на какой почве вырастала любовь собирателя к языку народа и народной поэзии.

Потом работал ветеринаром. Борьба с сибирской язвой... Однако этим занимались только руки, а ум гуманитария вслушивался в окружающую народную речь. «Руки работают: левая оттягивает кожу на шее лошади, а правая вводит иглу шприца, уши же все время слушают, о чем говорят скопившиеся большей частью едноточники, какие неизвестные слова произносят... И записал я таким образом не меньше пятисот слов и выражений. Например, до того я не слышал таких слов, как „узго“ – угол рта, „осока“ – выпотевшая лимфа крови на месте повреждения кожи на теле. Только ради этого урожая новых для меня слов я считаю свою „сибирязвенную“ работу очень плодотворной: нужна была такая обстановка, в которой люди произносили бы те слова, что ими были произнесены только в исключительных случаях...» (Из архива В. П. Бирюкова).

Однажды во время обследования скотоводства в Пермской губернии в руки Владимира Павловича попадает XXXIII том «Запи-

сок уральского общества любителей естествознания» (1912), где был напечатан словарь крестьян родного Шадринского уезда, составленный земляком Н. П. Ночвиным. «Наскоро пробежав этот словарь, — вспоминал В. П. Бирюков, — я невольно сказал про себя: „И крестьянские слова интересуют науку!“» (Путь краеведа). Слова местного говора потекли словесными ручейками со всех сторон.

За обедом или чаем беспокоились домочадцы:

— А у тебя *годяво* (хорошо) записано?

— *Пёрно* (сильно, резко) записано ли?

Диалектные слова слышались в постоянных путешествиях собирателя по Уралу. Вот крестьянка советует ему поискать в русле реки Солодянки кости вымерших животных: «*По уричишшу-то* пойдешь, дак много их найдешь». И собиратель задумывается: «Уречище — поречье, место вдоль реки, а комментатор слова *уречище* в «Троицкой летописи» объясняет это слово как *урочище*... Вот бы ему узнать диалектное шадринское уречище, чтобы он тогда сказал?! А ведь слово-то какое красивое и полновесное!»

Мало-помалу Владимир Павлович приближался к профессиональной лингвистической среде. В 1919 году, живя в Томске, он посещал вольнослушателем лекции по филологии в университете, и его записи диалектных слов впервые были пущены в научный обиход. Об этом свидетельствует любопытная справка:

Историко-филологический факультет в заседании 27 декабря 1919 г., заслушав отзыв комиссии в составе проф. Григорьева и Обнорского по рассмотрению представленного на медальную тему сочинения под девизом «Всякому свое хоть не мыто, да бело», постановил присудить автору сочинения серебряную медаль. По вскрытии запечатанного конверта с указанным девизом автором сочинения оказался Владимир Павлович Бирюков.

Подписал декан С. Гессен.

В 1923 году В. П. Бирюков издает в городе Шадринске неполный «Краевой словарь говора Исетского Зауралья». В 1920–1930 годах он участвует в издаваемом тогда Академией наук «Словаре русского языка».

В. П. Бирюков был одновременно и фольклористом, автором шести фольклорных сборников, причем фольклором он считал не только сказки, песни, частушки, пословицы, но и устойчивые обороты речи и слова, если они исходят из уст народа, отражают его мудрость, образ мыслей и запечатлевают те или иные интересные события. «Чем не фольклор такие выражения: „наквасить озеро“ — утонуть в озере, „править башню“ — пить водку, намек на наклонную башню в городе Невьянске Свердловской области; „туда-сюда комлями“ — о человеке-двурушнике» (Путь краеведа).

В. П. Бирюков стал включать в свои сборники и словарный материал. Это заставило его, с одной стороны, заменить слово *фольклор* термином *живое слово*, а с другой — дифференцировать собранный словарь говоров Урала на слова и фразеологизмы, на антропонимы и топонимы, на общие слова и слова профессиональные. Так появился особый тип сборника — «Урал в его живом слове» (1953), а еще раньше «Дореволюционный фольклор на Урале» (1936), где вместе с чисто фольклорными жанрами широко представлены профессиональные словарики горняка, доменщика, углежога, гравиальщика, кустика по выделке златоустовских ножей и вилок, а также словарь фольклорной терминологии, словарики прозвищ, экономических названий, и даже сведения о местном произношении слов. Словарики прекрасно вписывались в тематику сборников об Урале. Приведем пример из сборника «Урал в его живом слове»:

Жженопятики. Рабочие дореволюционных металлургических заводов Среднего Урала, то и дело обжигавшие ноги о расплавленный металл из-за отсутствия охраны труда. «Мы каслинцев жженопятиками звали».

Билпкульские пагалешники. Крестьяне села Билпкуль Бродокалмакского района Челябинской области, — за их обычай носить пагалешки, то есть холщовые голенища при обычной обуви в виде башмаков или полуботинок.

Словарная картотека собирателя росла не по дням, а по часам, и вместе с накоплением материала Бирюков продолжал его классификацию. Так, профессионализмы он выделил в особую картотеку, в ней оказалось 52 раздела, столько, сколько и словариков, среди них лишь некоторые не полны, а большинство исчерпывающие.

Особое внимание В. П. Бирюков обращал на такие слова, в которых отражались исторические события: *кустарник* — дезертир из колчаковской армии, не желающий воевать на стороне Колчака; *коровий язык* — денежный знак, выпущенный сибирским белогвардейским правительством в виде узкой ленты; история взаимодействия языка и диалектов: уральские диалектные слова *арнать* — 'ругаться, браниться', *вехоть* — 'кухонная тряпка или тряпка для мытья полов', *доспеть* — 'сделать, изготовить', *слаутный* — 'славный, знаменитый', которые В. П. Бирюков иллюстрировал древнерусскими текстами. Например, слово *счувать* 'запрещать, закликать' он нашел в I Новгородской летописи: «А се пятая виша: аще жена иметь, опроче мужа своего воли ходити по игрицам или в дни или в нощи, а муж иметь счувати, а она не послушает, разлучити ю». Древнерусская лексика в русских народных говорах — большой и еще не исследованный во всей полноте материал.

Относительно Уральских фамилий у В. П. Бирюкова была своя теория: он видел в них историю заселения края, пути переселения и смещения народов в пределах Урала, наблюдал за географическим закреплением фамилий по населенным пунктам Урала, например:

Мезенцев. От названия реки и города Мезень Архангельской области.

Анчугов — Уксянский, Мехонский и другие районы Зауралья. *Ончук* — по-мансийски 'дед'.

Еще при жизни автора материалы словаря говоров Урала получили высокую оценку специалистов.

Так, в 1938 году на тезисы доклада В. П. Бирюкова о словаре уральских наречий дал развернутый отзыв заведующий словарным отделом Института языка и мышления АН СССР член-корреспондент АН СССР профессор В. И. Чернышев: «Собранный материал довольно велик. Работа организована основательно, широко и достаточно продумана. В руках В. П. Бирюкова находятся, можно сказать, труды маленького института (состоящего в одном лице) по изучению лексики, истории, этнографии и фольклора с богатой библиотекой, печатной и рукописной. Дело В. П. Бирюкова, этого замечательного собирателя научных материалов, следует поддерживать как ценное и успешное научное достижение...» (Из архива В. П. Бирюкова).

В 1945 году академик С. П. Обнорский писал о материалах В. П. Бирюкова: «Мне известна давняя, почти 40-летняя плодотворная работа уральского краеведа-писателя Владимира Павловича Бирюкова. В его лице — большой знаток местного наречия, равным образом ревностный собиратель местного фольклора. Им составлен большой уральский словарь с указанием особенностей местного произношения, с толкованием слов и оттенков значений данными из живой речи, из местного фольклора, из произведений местных писателей. Значение этого словаря очень большое, как собственно научное, так и научно-практическое, в частности, для писателей, работающих на уральские темы» (Архив В. П. Бирюкова).

Весь лексический, словарный материал, собранный В. П. Бирюковым, составил картотеку в 40 тысяч карточек. Картотека хранится в Свердловском государственном архиве и ждет продолжателя дела, почти завершенного трудолюбивым собирателем.

В. П. ТИМОФЕЕВ
Челябинск



КАНАВИНО и кума-чародейка

Канавино — название одного из восьми районов города Горького. Этот район вмещает около 160 тысяч жителей и простирается на 45 квадратных километров по левую сторону реки Оки у ее впадения в Волгу. Ежегодно (с 1817 по 1929, кроме 1917—1922) в конце лета или в начале осени проводилась здесь знаменитая Нижегородская Всероссийская ярмарка (бывшая Макарьевская).

Название *Канавино* вызывает невольные ассоциации со словом *канав* и побуждает предположить, что оно первоначально было не среднего, а женского рода *Канавина*, так как сначала служило наименованием не селения, а местности по какой-то канаве (ср.

аналогичные обозначения рельефа с суффиксом *-ин-*: *болотина*, *впадина*, *выбоина*, *вымоина*, *долина*, *залоина*, *котловина*, *ложбина*, *лощина*, *низина*, *рытвина*, *седловина* и т. п.). По свидетельству Н. И. Храмцовского («Очерки истории и описание Нижнего Новгорода», Н. Новгород, 1857); уже в середине XIX века делались попытки истолковать *Канавино* как производное от *канава*, что нашло отражение в тогдашней нижегородской периодической печати — в «Нижегородском листке» и в «Нижегородском биржевом листке». Однако канава при впадении Оки в Волгу не такой уж существенный ландшафтный элемент, чтобы стать причиной наименования всей местности.

Отвергнув эту версию, можно как будто объяснить происхождение *Канавино* от *канава* по-другому: считать, что оно представляет собою притяжательное прилагательное с суффиксом *-ин-*, образованное от личного имени или прозвища Канава. Ведь подобные некалендарные (нехристианские) личные имена сохранялись на Руси до середины XVII века, а в виде прозвищ держались еще дольше. В этом случае можно допустить, что *Канавино* первоначально принадлежало кому-то с именем или прозвищем *Канава*. Однако и второе толкование, абстрактно вполне допустимое, не выдерживает критики, как только мы обратимся к свидетельствам старой нижегородской письменности.

Так, в Нижегородских писцовых книгах 1621—1622 годов на месте Канавина упомянуты *Кунавинская* слобода и слобода Гривка, в которых было 60 дворов. Вместе с тем оказывается, что и в других документах XVII—XVIII веков теперешнее Канавино обозначается как *Кунавинская слобода* или *Кунавино*. Например: «велели Кунавинские слободы жильцам... ездити» (1627); «промежь тое Кунавинские посадские слободы» (1633); «отдат ся грамотка на Кунавине в слободе» (1700). И даже во второй половине XIX века А. С. Гациский (в «Нижегородке» — путеводителе по Нижнему Новгороду, изданном в 1877 г.) Канавино постоянно именует *Кунавином*. Кроме того, выяснено, что жители Канавина в письменности минувших веков именуются *кунавинцами*, то есть словом, производным от *Кунавино* или *Кунавина*, что и отмечают нижегородские духовные грамоты 1601 года: «на кунавнице на Якуне взят бескабально 4 алтыни денег».

Стало быть, наименование *Канавино* — это не производное от *канава*, а искажение сделавшегося непонятным по корню *Кунавино* или *Кунавина*.

Размышления над его происхождением привели некоторых исследователей к догадке, что корень здесь тот же самый, что и в древнерусском слове *куна* «денежная единица» или *куны* «деньги».

На этом основании отдельные историки стали считать, будто

наименование *Кунавино* отражает большую торговую роль Нижегородской ярмарки и происходит непосредственно от *куна* или *куны* в указанном значении. Однако это толкование явно несостоятельно, потому что Нижегородская ярмарка в Канавине обосновалась лишь в начале XIX века, когда деньги на куны уже не считали. Хорошо известно, что на Руси называли кунами меховые или кожаные деньги (в виде шкурок или меховых лоскутков куницы, а потом и белки) в домонгольский период. Правда, со временем восточные славяне стали именовать кунами и металлические денежные знаки, так что слово *куны* в смысле 'деньги' использовалось еще иногда в XV и в начале XVI веков, например, в договоре Великого Новгорода с королем польским и великим князем литовским Казимиром IV от 1470—1471 гг. или грамоте Ивана Грозного старорусским тонникам от 1485—1505 гг. Но к XVII веку русские так деньги уже не называли.

Другие историки в стремлении истолковать *Кунавино* как производное от *куна* или *куны* не столь наивны, как только что упомянутые, и вслед за Н. И. Храмцовским предполагают, что *Кунавино* возникло в татаро-монгольский период восточнославянской истории на том месте у окского перевоза, где с торговцев, стремившихся в Нижний Новгород, татары взимали пошлину в виде кун. Однако в этом случае Канавино скорее получило бы название с корнем *мыт-* (*мыто* обозначало торговую пошлину). Кроме того, вопрос о происхождении *Кунавино* не решается догадкой только о его корне — необходимо понять и роль суффиксов.

Наименование *Кунавинская* в Нижегородских писцовых книгах — производное с суффиксом *-ск-* (из *-ьск-*) от *Кунавино* или *Кунавина*, а то и другое — образования с суффиксом *-ин-* от *Кунав-*. Стало быть, только *Кунав-* могло возникнуть от *куна* или *куны* путем присоединения суффикса *-ав-* и окончания к корню *кун-*. И если думать, что *куна* обозначало денежную единицу, а *куны* — деньги, то надо определить, что в *Кунавино* или *Кунавина* первоначально выражали суффиксы *-ав-* и *-ин-*, в этом случае — явно не ландшафтные.

Но, может быть, *куна* — это вовсе не денежная единица и *куны* — не деньги, а грамматические формы единственного и множественного числа для названия зверька куницы? Ведь ее по-древнерусски называли *куной*. Тогда как будто *кунава* допустимо истолковать как местность, где водятся *куницы* (ср.: *мурава* 'пространство луга', *дубрава* 'пространство дубового леса' — с суффиксом *-ав-*), а *Кунавина* (с последующим изменением в *Кунавино* и *Канавино*) — как производное от *кунава* в только что указанном смысле с суффиксом *-ин-* (ср. *луговина*, *лядина*, ср. украинские топонимы *Буковина*, *Верховина*). Однако ландшафтные

слова на *-ава* от названий зверей у восточных славян совершенно необычны!

Чтобы выяснить происхождение *Кунавино* или *Кунавина*, следует обратиться к одной любопытной легенде, известной по записи А. С. Гациского («Нижегородка», 1877). Будто бы около Нижнего Новгорода (теперешнего Горького) в слободке, позднее ставшей Канавином, когда-то давно жила красивая молодая вдова, держала здесь около окского перевоза кабак или постоялый двор и получала от него большие прибыли, так как умела приворожить постояльцев своими волшебными чарами. За ласку, умение угодить посетителям вдову в пародии прозвали кумой. «Кума, вина!» — кричали заезжие гости. Это выражение якобы и стало восприниматься как название слободки, где она жила. Однажды, повествует легенда, приворожила кума своими чарами нижегородского князя-воеводу, да так, что тот забыл свою законную супругу. Его сын решил вступить за мать и убить вдову. Но кума приворожила и княжича. Тогда за свою честь вступилась сама воеводская жена-княгиня: достала зелье у колдуна и отравила вдову-чародейку. Обезумевший князь-воевода задушил свою жену и убил подоспевшего ей на помощь сына, а сам был казнен по велению царя. Со временем выражение «*Кума, вина!*» якобы исказилось и превратилось в *Кунавина*, *Кунавино*.

Кто знает оперу П. И. Чайковского «Чародейка» на либретто И. В. Шпагинского по его же драме, тому нетрудно понять, что драматург и композитор использовали именно канавинскую легенду о куме-чародейке.

Конечно, легенда — всего лишь вымысел, и производить *Кунавине* от «*Кума, вина!*» невозможно. Это ложная, противоречащая словообразовательным нормам наивная попытка истолковать ставшее непонятным по происхождению *Кунавино* на основании случайных созвучий. Подобные объяснения непонятных топонимов людьми, не имеющими специальных историко-лингвистических знаний, к сожалению, довольно часто встречаются. Так, возникшее в дославянской истории Верхневолжья название реки Яхромы (Московской обл.) пытаются возвести к выражению «*я хрома*» (будто бы какая-то царица произнесла здесь эту фразу, когда выходила из кареты, оступилась и повредила ногу). Или еще: заимствованные славянами у своих предшественников названия *Кинешма* и *Решма* (сейчас обозначают город и село на Волге в Ивановской обл.) возводят к выражению «*кинешь мя — и режь мя*» (будто бы так сказала персидская княжна Стеньке Разину, когда он ее разлюбил). Несостоятельность подобных объяснений становится очевидной, если мы их «методику» применим к чему-либо хорошо известному. Например, хирургический термин *резекция*

«иссечение [удаление] пораженного болезнью органа или его части» так и хочется и по созвучию и по смыслу связать с русским словом *резать*. Однако, *резекция* происходит от латинского *seco* (родственного русскому *секу*) с латинской же приставкой *ge-* (как в словах *реклама*, *реакция* и т. п.).

И все-таки в легенде о кунавинской куме-чародейке какое-то «рациональное зерно» должно быть. Если *Кунавино* — производное с суффиксом *-ин-* от *Кунава* и не относится к ландшафтно-рельефным наименованиям, то оно — притяжательное прилагательное, указывающее на принадлежность какого-то объекта владельцу по имени или прозвищу *Кунава*. Следовательно, можно думать, что *Кунавино* — это первоначально какое-то владение (строение, селение и т. п.), принадлежащее Купаве. А так как у русских до середины XVII века были распространены вторые, неканонические (нехристианские) имена и из них женские — на *-ава* типа *Купава*, *Любава*, *Милава*, *Русава*, *Семава*, *Хорошава*, *Чернава* и т. п., то в *Кунаве* надо предполагать женщину, а значит, ею могла оказаться и кума-чародейка из упомянутой легенды.

В качестве дополнительного косвенного довода в пользу объяснения *Кунавина* как производного от собственного женского имени *Кунава* можно указать на документально подтверждаемый сходный и притом нижегородский факт. В пределах современного города Горького есть местность, именуемая *Ковалиха*. Это название она получила по двору Орины Ковалевой, стоявшему здесь в XVI веке. Во-первых, этот двор упомянут в «данной грамоте» 1576 года как раз на месте современной Ковалихи: за Черным прудом возле оврага и острога по соседству с двором старца Феофана. А во-вторых, все это пространство в духовной грамоте игумена Перфирия от 1604 года, названо уже просто Ковалихой.

Таким образом, решается вопрос о суффиксах *-ин-* и *-ав-* в названии *Кунавино*: первый из них — притяжательный, а второй — антропонимический для обозначения женщин. Остается, следовательно, определить, от какого нарицательного существительного образовано собственное женское имя *Кунава*. Раз его корень *-кун-*, то вполне возможно, что *Кунава* происходит от *куна*, которое по-древнерусски значило 'куница', 'мех купиды', 'деньги', 'единица денежного счета', а во множественном числе использовалось еще и как «приданое невесты» или «выводные деньги за невесту». Однако не исключено, что *-кун-* в имени *Кунава* употреблен и в ином смысле, так как в русских диалектах для слова *куна* известны еще значения 'пригоршня', 'оковы', а производный от *куна* глагол *кунеть* был синонимом для *хорошеть* (применительно главным образом к фигуре и лицу девушки). Кроме того, может быть, что корень *кун-* в составе *Кунава* — тюркского происхождения,

проникший в древнерусский язык благодаря длительным контактам восточных славян с разными тюркскими народами. У них этот корень употребляется в значениях 'солнце', 'день', 'народ', 'родня' (Древнетюркский словарь, Л., 1969). А у восточных славян со времен татаро-монгольского ига, если не раньше, вторые, нехристианские личные имена с тюркскими корнями и основами получили некоторое распространение (А. М. Селищев, «Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ», Ученые записки МГУ, вып. 128).

Следовательно, значение корня *кун-* в имени *Кунава* нуждается в дополнительном изучении и пока может быть указано лишь предположительно.

Следует заметить, что корень *кун-* и слова, производные от женских нехристианских имен на *-ава*, в старорусской топонимике ничего необычного не представляют. Так, *кун-* обнаруживается в существующем до сих пор названии одной из московских местностей — *Кунцево*, в известных по грамотам XIV—XVI веков наименованиях *Кунск* — волость в Новгородской земле, *Куней* — волость Дмитровского уезда и *Кунино* — деревни Клинского и Переяславского уездов. Из производных от женских имен на *-ава* в тех же грамотах встречаем *Кунавина* — волость Московского уезда, *Макавицино* — деревня Можайского уезда, *Беладино* — пустошь Московского уезда и деревня Коломенского уезда, *Трясавинские* — земли в Переяславском уезде и др. Однако это несколько не помогает уточнить исходное значение корня *кун-* в топониме *Кунадино*.

Каковы же причины его превращения в *Канадино*? Конечно, это не произошло бы лишь как следствие сходства *Кунав* — *Кунадино* и *канав* — *канав*. Ведь не смешиваются и не взаимозаменяются в нашей речи, например, созвучные *лижу* и *лежу*, *кусаться* и *касаться* и т. п. Но причины заключались и не только в том, что наименование *Кунадино* утратило свою мотивировку. Повлияли и другие обстоятельства и в частности распространение диссимилативного аканья. В устной речи современных горьковчан оно иногда проявляется очень заметно: слышится редуцированный *ъ* (схожий с *у*) вместо предударных *а* и *о* при наличии *а* под ударением (*съма* вместо *самá*, *нъга* вместо *ногá* и т. п.). Надо думать, что так же говорили и некоторые нижегородцы XIX века, так что у них *канав-* и *Кунав-* не просто сближались, а почти не различались, и фонетические возможности для замены *Кунадино* на *Канадино* оказывались вполне благоприятными.

Н. Д. РУСПНОВ

Горький

Рисунок С. Гавриловой

Новые контуры в лингвистической географии

■

Около 35 лет назад Л. В. Щерба высказывал идею о составлении лингвистического атласа мира. Одним из шагов на пути претворения этой мечты в реальность является создание Лингвистического атласа Европы, работа над которым ведется уже несколько лет. Этот колоссальный научный труд поможет ученым в решении крупных проблем типологического изучения языков, вопросов истории и взаимных контактов европейских народов, современных отношений между европейскими языками.

Лингвистический атлас Европы (ЛАЕ) — крупнейшая международная лингвистическая организация, работающая под эгидой ЮНЕСКО и объединяющая языковедов европейских стран. Организационно ЛАЕ руководит Центр по диалекто-

логии и ономастике университета в Неймегене (Нидерланды), директор которого, профессор Вайнен, является президентом Главной редакции ЛАЕ. В нее входят руководители Национальных комитетов разных европейских государств, осуществляющих сбор материалов для ЛАЕ в своих странах, их первичную обработку.

Советский Союз и другие социалистические страны широко представлены в руководящем органе ЛАЕ. В Главной редакции Атласа, которая состоит из двадцати одного человека, работают одиннадцать представителей социалистических стран. Член-корреспондент АН СССР Р. И. Аванесов является вице-президентом ЛАЕ. В Главную редакцию входят также четверо советских ученых: В. В. Иванов, Г. А. Климов, Б. А. Серебренников, Э. Х. Тенишев.

С целью координации всей работы над Лингвистическим атласом Европы в нашей стране создана советская комиссия ЛАЕ (председатель — член-корреспондент АН СССР Р. И. Аванесов). Комиссия состоит из 32 членов-представителей всех союзных и автономных республик и областей Европейской части СССР.

Граница Атласа на юге нашей страны проходит по Главному Кавказскому хребту (от Сочи до Баку), затем идет на север по побережью Каспийского моря, по реке Урал и далее по Уральскому хребту. На этой части нашей страны существует большое количество разносистемных языков, каждый из которых должен получить отражение на картах Атласа Европы. Руководит этой большой и сложной работой в нашей стране Институт русского языка АН СССР.

На каком же этапе находится составление Атласа? В настоящее время осуществляется сбор ответов по первому вопроснику ЛАЕ, состоящему из 546 пунктов. Цель его — установить названия различных реалий окружающего мира. Основные темы вопросника — «Вселенная», «Человек», «Человек и вселенная». Задача состоит в том, чтобы на территории всей Европы собрать сведения по основным диалектам европейских языков.

Как же практически осуществляется эта работа? В нашей стране собираемые материалы переводятся на местах в фонетическую транскрипцию ЛАЕ и поступают в Москву, в ИРЯЗ, а затем, после окончательной

обработки, пересылаются в Нидерланды. Всю работу по первому вопроснику намечается завершить к концу 1980 года.

Главная редакция ЛАЕ планирует до 1980 года издать первые 30 карт в качестве пробы. Создание карт на материалах первого вопросника — это лишь предварительный этап работы, попытка установить, что же можно сделать объединенными усилиями европейских стран в решении данной проблемы. Основной же труд еще впереди — это работа по второму вопроснику, проект которого включает в себя обширную программу исследования диалектов европейских языков на всех уровнях их структуры: фонетику и фонологию, морфологию и словообразование, синтаксис и структурную лексикологию и даже историческую фонетику.

По мере движения вперед эта работа будет требовать все больших и больших усилий лингвистов нашей страны.

Сотрудничество ученых разных стран постоянно развивается и укрепляется. В русле этого сотрудничества находится и организация ЛАЕ, деятельность которой направлена на развитие мирового языкознания.

Н. А. РЕВЕНСКАЯ



РУССКИЙ ЯЗЫК
В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ

РУССКОЕ СЛОВО В ЮЖНОМ ЙЕМЕНЕ

В этой стране на Аравийском полуострове ко многому применимы слова «первый», «впервые». Так, впервые трудящиеся Народной Демократической Республики Йемен получили право на образование, бывшее до революции привилегией господствующих слоев общества. До завоевания южнотиманским народом независимости подавляющее большинство населения было неграмотным. В 1965—1966 годах в стране работало 16 средних школ. В 1970 году постановлением революционного правительства в республике было создано Управление по ликвидации неграмотности, а в 1973 году принят закон «О ликвидации неграмотности и обучении взрослых», в соответствии с которым каждый гражданин страны в возрасте до 45 лет был обязан пройти курс обучения в объеме средней школы. В борьбе с неграмотностью принимали участие не только учителя, но и образованные люди других профессий.

Перед страной, не имевшей до революции ни одного вуза, стояла и другая сложная проблема: подготовка высококвалифицированных национальных кадров. Огромную помощь в решении этой задачи оказали социалистические страны, в частности Советский Союз.

В настоящее время около тысячи посланцев Демократического Йемена обучаются в СССР. Многие из них избрали русский язык своей профессией. Высший педагогический колледж — первый вуз

Народной Демократической Республики Йемен, который готовит высококвалифицированных специалистов различных профилей, в том числе и по русскому языку. Первый выпуск филологов-русистов здесь состоялся в 1974 году и был подготовлен советскими преподавателями, приехавшими в Йемен на основании соглашения о культурном сотрудничестве между НДРЙ и СССР.

В том же году в Адене был создан Институт иностранных языков, который готовит преподавателей и переводчиков для различных государственных организаций. Сейчас Высший педагогический колледж и Институт иностранных языков, сохраняя свои названия, входят в состав Аденского университета, учрежденного декретом от 10 сентября 1975 года.

С каждым годом крепнут культурные связи Демократического Йемена с Советским Союзом. Посредником при обмене опытом в самых различных областях жизни обеих стран выступает русский язык. Он помогает южнотиманскому народу приобщиться к тем ценностям, которые вносит советский народ в сокровищницу мировой науки, техники, культуры и литературы. И закономерно, что интерес к русскому языку в стране растет. Для желающих изучать его организованы бесплатные курсы при советском культурном центре в Адене, которые успешно работают с 1972 года. Такие же курсы были созданы в 1977 году в городе Джаар при филиале Общества йеменско-советской дружбы. Существуют в стране и государственные платные трехгодичные курсы русского языка. Программа этих курсов приближается к университетской, поэтому здесь обучаются, как правило, те южнотиманцы, которым необходим высокий уровень знаний русского языка: преподаватели, переводчики, литераторы и др. Так, современный поэт Демократического Йемена Хасан Азази хорошо владеет русским языком и читает произведения русских и советских писателей в подлиннике. Хасан Азази — автор стихотворения «Октябрь», в котором он рассказал своим соотечественникам о Великой Октябрьской революции как о главном событии XX века. В поэме «Ленин» (1974) Хасан Азази правдиво раскрывает образ вождя пролетариата, имя которого дорого всему прогрессивному человечеству.



К вершинам науки

В ней представлены основные направления деятельности В. И. Ленина как организатора большевистской партии и вождя Великой Октябрьской социалистической революции. В настоящее время Хасан Азази совместно с советским филологом-арабистом работает над переводом своей поэмы на русский язык.

Не следует думать, однако, что с культурой и литературой нашей страны знакомятся только те южнoйеменцы, которые знают русский язык. Бессмертные произведения русских и советских классиков литературы — Пушкина, Льва Толстого, Достоевского, Гоголя, Чехова, Тургенева, Горького, Алексея Толстого, Николая Островского и других — переведены на арабский язык и широко известны в Южном Йемене.

С каждым годом растет интерес южнoйеменцев к русскому языку. Люди самого разного возраста, различных профессий изучают язык великого Ленина, язык мира и дружбы. Пусть же он поможет молодому государству на его пути к новой жизни.

А. В. МАКЕЕВ

Рисунок В. Толстоногова



Петр
Саввич
КУЗНЕЦОВ

1899—1968

Среди ученых, чье имя составляет гордость отечественной филологической науки, особое место принадлежит Петру Саввичу Кузнецову — замечательному языковеду, профессору Московского университета, тонкому и чуткому педагогу. Вся его жизнь — это жизнь ученого-подвижника, постоянный научный поиск, неустанное биение творческой мысли, которое ощущалось как в опубликованных работах (список их содержит 165 названий; см.: Библиография работ П. С. Кузнецова.— В сб.: «Язык и человек». М., 1970, с. 5—17), так и в многочисленных выступлениях на конференциях, ученых советах, и конечно — в лекциях, прочитанных в разных вузах Москвы и других городов, а последние 25 лет жизни — в МГУ имени М. В. Ломоносова. Эти лекции не просто информировали студентов о том или ином явлении, но учили думать, спорить, искать, любить язык и ту прекрасную науку о нем, которой страстно был предан сам Петр Саввич.

В его облике была необычность, которая даже в суете московской улицы останавливала на нем внимание прохожих. Летом он нередко ходил в светлой навывпуск русской рубаше, подпоясанной тонким ремешком. И хотя такой наряд выпадал из общего колорита моды 50—60-х годов, не это было главным, что заставляло заметить Петра Саввича. В его лице была необычайная сосредоточенность на какой-то мысли, а во взгляде просвечивала необыкновенная, светлая доброта.

П. С. Кузнецов родился 3 февраля (20 января по старому стилю) 1899 года на Дону, на Богодуховской балке Усть-Хоперского округа. Своих родителей он не знал, так как девяти месяцев отроду был усыновлен юристом В. С. Дубенским, который вскоре умер, а воспитанием мальчика занималась его вдова Н. И. Дубенская, учительница начальной школы. В 1910 году Петр Саввич поступил в Московскую гимназию А. Е. Флерова, а со 2-го класса перешел в гимназию Е. А. Репман, где учился его друг детства А. Н. Колмогоров (ныне академик, выдающийся советский математик).

Учиться Петр Саввич умел и любил. Наделенный от природы неуемной любознательностью и стремлением к энциклопедичности, он всюду умудрялся получить знания, и в юности все его интересовало в одинаковой мере. Он зачитывался французской литературой и техническими справочниками, историческими трактатами и учебниками по геологии. Все эти знания надежно хранились в его памяти и нередко оказывались весьма полезными.

В гимназические годы, влюбляясь поочередно и одновременно в астрономию, археологию, палеонтологию, историю, Петр Саввич открывает для себя и лингвистику. Этому открытию помогла одна приключенческая повесть, где речь шла о дешифровке найденных в Сибири надписей, язык которых родствен санскриту, но древнее его. Спустя более полувека Петр Саввич напишет в автобиографии: «Вспоминая собственные имена из этих надписей (я после не перечитывал этой повести и никогда ее больше не видел), я вижу, что действительно язык этот был архаичнее санскрита: в нем сочетание *zd* еще не дало *d* с удлинением предшествующего гласного».

Но путь Петра Саввича к лингвистике оказался довольно долгим. Окончив в 1918 году с отличием гимназию, он поступает на историческое отделение историко-филологического факультета Московского университета и одновременно устраивается на работу («иначе не было средств к существованию») в отдел реформы школы Наркомпроса. Лишь проучившись семестр, Петр Саввич узнал о существовании специального отделения сравнительного языковедения и решил туда перейти, но его призвали в армию, где он прослужил до осени 1923 года.

После армии Петр Саввич, вновь устроившись на работу (на этот раз библиотекарем), стремится возобновить учебу, поступает в Брюсовский литературный институт, а затем через год — в Институт слова. Но гуманитарной программы ему было мало, и он стал ходить в университет на лекции по общей астрономии и математике, в особенности на лекции знаменитого русского математика Н. Н. Лузина.

Учеба в двух названных институтах имела большое значение

в формировании Петра Саввича как лингвиста. Именно в эти годы он регулярно слушал курс фонетики у Д. Н. Ушакова, а в I МГУ посещал лекции не только математического, но и лингвистического цикла — М. Н. Петерсона по сравнительной грамматике индоевропейских языков и А. М. Селищева по славянскому языкознанию. Здесь у Петра Саввича появляются новые знакомые, уже избравшие путь лингвистики и впоследствии ставшие его друзьями, — известные языковеды Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, В. И. Лыткин.

С 1925 года, после ликвидации Института слова, Петр Саввич продолжает учебу во II МГУ, но, неудовлетворенный узкопедагогическим уклоном его программы, переходит в 1926 году в I МГУ и с этого времени целиком посвящает себя изучению лингвистики. В том же 1925 году Петр Саввич стал регулярно посещать заседания Московской диалектологической комиссии (МДК) при ОРЯС АН СССР, председателем которой был Д. Н. Ушаков, ставший его наставником в лингвистике. Эта комиссия была тогда фактическим научным центром, где воспитывались молодые лингвисты и где окончательно определилась научная судьба Петра Саввича, который стал целенаправленно заниматься диалектологией и историей языка.

Летом 1926 года Петр Саввич совершил первую диалектологическую поездку в Белозерский край, отчитавшись затем в МДК, и это знаменовало начало его самостоятельной лингвистической деятельности; в дальнейшем такие поездки — и в одиночку, и в составе экспедиции — Петр Саввич совершал неоднократно. В 1927 году он с блеском защищает дипломную работу «К исторической фонетике ростово-суздальских говоров». Потом была аспирантура, новые поездки на север, увлечение индоевропеистикой, изучение новых языков (например, бенгальского). В 1929 году был опубликован глубокий отчет Петра Саввича о его второй диалектологической поездке (на Пинегу). В 1930 году П. С. Кузнецов был направлен после аспирантуры в Смоленский пединститут.

Дальнейший жизненный путь Петра Саввича — путь отнюдь не легкий, как у всякого честного и бескомпромиссного ученого. В 1931—1933 годах ученый работает в Научно-исследовательском институте языкознания (НИЯЗ), где он знакомится с А. А. Реформатским, ставшим его другом и единомышленником, сближается с Н. Ф. Яковлевым и А. М. Сухотиным. Именно в стенах НИЯЗ-а зародилась Московская фонологическая школа, ныне хорошо известная как в СССР, так и за рубежом; ядро ее составили В. Н. Сидоров, Р. И. Аванесов, А. А. Реформатский, П. С. Кузнецов, А. М. Сухотин, а идейным родоначальником был Н. Ф. Яковлев. Годы, проведенные в НИЯЗе, были для Петра Саввича годами уг-

лубленного изучения теории языка, но одновременно он, оставаясь верным себе, неумоимо расширял круг фактических знаний, начав изучение африканских языков. Петр Саввич овладел языком суахили и написал статью об именных классах в этом языке, а позже, в 1934 году, занялся языком ваи, результатом чего также явилась статья — «О местоимениях языка ваи» (напечатана гораздо позднее, в 1959 году).

В последующие годы вплоть до Великой Отечественной войны Петр Саввич работает в разных учебных заведениях, где читает курсы истории русского языка, диалектологии, старославянского языка, современного русского языка, продолжает участвовать в летних диалектологических экспедициях. Основательные занятия теорией фонологии привели к появлению принципиально важной работы «К вопросу о фонематической системе французского языка» (1941), где впервые сделана попытка последовательно изложить концепцию и понятийный аппарат Московской фонологической школы; в дальнейшем проблемы общей фонологии станут одной из любимых тем П. С. Кузнецова.

В начале войны Петр Саввич эвакуируется в Кудымкар, куда он был направлен как заведующий кафедрой языка и литературы учительского института. И здесь опять пригодилась ему необычайная образованность. Из-за нехватки кадров Петру Саввичу приходилось читать не только языковедческие, но и литературоведческие курсы, а также фольклор, которым он интересовался со студенческих лет. Среди прочих он читал спецкурс «Избранные главы из истории мировой литературы», причем читал в вечернее время, чтобы кроме студентов лекции могли посещать все желающие. В своих лекциях Петр Саввич останавливался не только на собственно литературоведческих вопросах, но и на стиле, языке, поэтике произведений, говорил лишь о тех писателях, которых мог цитировать в подлиннике. А это были Гомер, Данте, Шекспир, Шиллер, Гете, Байрон, Гёте, Мольер! Двухлетнее пребывание в Кудымкаре отразилось и на научной биографии ученого: он серьезно изучил язык коми и составил (в соавторстве с А. М. Споровой) русско-коми-пермяцкий словарь (издан в 1946 году) и написал две статьи по коми-пермяцкой фонологии.

В конце 1943 года Петр Саввич вернулся в Москву и стал работать в МГУ, параллельно в разные годы ведя работу в академических институтах (Институт русского языка, Институт языкознания). В 1947 году он защитил докторскую диссертацию на тему «Из истории сказуемости употребления страдательных причастий в русском языке».

40—60-е годы — период наиболее плодотворной научной деятельности Петра Саввича Кузнецова. В эти годы выходят его фун-

даментальные исследования в различных областях языкознания — монографии по исторической морфологии русского языка (1953 и 1959), очерк исторической грамматики русского языка (совместно с В. И. Борковским, I изд. — 1963, II — 1965); монография по праславянской морфологии (1961), по общей теории грамматики (1961), учебники и учебные пособия (среди них популярнейшая «Русская диалектология», выдержавшая несколько изданий и любимая студентами за компактность и ясность изложения), десятки статей и рецензий по общему, индоевропейскому, славянскому и русскому языкознанию. И это при огромной педагогической работе: лекции, семинары, консультации, руководство аспирантами, оппонирование на защитах диссертаций, а еще редактирование и комментирование различных изданий. Везде, где ожидалось интересное обсуждение, дискуссия, на любой научной конференции можно было встретить Петра Саввича — оживленного, ловящего каждое слово докладчика, мгновенно находящего аргументы за или против, доброжелательного, чуткого ко всему новому и непримиримого ко всякой недобросовестности.

Тяжелая болезнь подорвала силы, но и за месяц до смерти Петр Саввич оставался неутомимым ученым, педагогом. В больничной палате, уже понимая, что из нее не выйдет, этот человек способен был вновь загораться заинтересовавшей его идеей, пазуля посетителей неугасимостью мысли и любознательным вниманием к жизни. И в памяти всех знавших его Петр Саввич Кузнецов остается примером чистого, бескорыстного служения науке, верности своему долгу, гражданского мужества и патриотизма.

В. А. ВИНОГРАДОВ

Все большее распространение получает русский язык в Болгарии. Сейчас в республике 13 школ с преподаванием предметов на русском языке. В стране также работают свыше пяти тысяч курсов по изучению русского языка при окружных, городских и районных комитетах болгаро-советской дружбы. Свыше 2800 подготовительных групп действует в детских садах — в них дети получают первые знания русского языка.

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

Международные съезды славистов — специалистов по славяноведению — стали замечательной традицией в научной жизни мировой славистики. Идея съезда славистов разных стран родилась в начале XX века в России, где интерес к славянским народам никогда не ослабевал. Этому способствовало тесное общение русских, западославянских и южнославянских ученых на протяжении XIX века. I съезд славистов состоялся в 1929 году в Праге, II — в 1934 году в Варшаве и Кракове. III съезд был подготовлен и его предполагалось провести в 1939 году в Белграде, однако из-за начавшейся второй мировой войны он не состоялся. Только в 1955 году в Белграде было проведено международное совещание славистов, которое имело решающее значение для дальнейшего развития славистики: был избран Международный комитет славистов (МКС) и началась подготовка очередного съезда.

IV съезд собрался в 1958 году в Москве. Он сыграл огромную роль в дальнейшем развитии

славяноведения. Международные съезды славистов проходят каждые пять лет в одной из славянских стран: V съезд — 1963, Болгария (София), VI — 1968, Чехословакия (Прага), VII — 1973, Польша (Варшава).

VIII Международный съезд славистов состоялся в Социалистической Федеративной Республике Югославии (Загреб — Любляна, 3—9 сентября 1978, председатель Международного комитета славистов академик Б. Крефт). В его работе приняли участие слависты 26 стран Европы, Америки, Австралии, Азии. Рабочими языками съезда были все славянские, а также английский, французский и немецкий. На съезде присутствовало около 1500 ученых. Советскую делегацию возглавлял председатель Советского комитета славистов академик М. П. Алексеев. 96 советских ученых представляли различные учреждения и организации: Академии наук СССР, БССР, УССР, Академию общественных наук при ЦК КПСС, Министерство культуры СССР, ЮНЕСКО.

Современное славяноведение представляет собой совокупность наук и научных дисциплин о славянских народах: язык, литература, фольклор, этнография, история, философия, право, экономика, изобразительное искусство, театр,

музыка. Из-за обилия и разнообразия возникающих в связи с этим проблем ученые-слависты обсуждают на своих съездах преимущественно вопросы филологии (язык, литературу, фольклор) и истории, главным образом общеславянские историко-филологические проблемы. В этом отношении VIII Международный съезд славистов продолжил установившуюся традицию.

На съезде работали пять секций: языковедения; литературоведения; литературно-лингвистическая; фольклористики; общеславянских историко-филологических проблем. Состоялось 84 заседания, на которых прочитано около 900 докладов и сообщений. Разнообразные по тематике, они были посвящены частным и общим вопросам, теоретическим и практическим, были выполнены индивидуально и коллективно.

Научная проблематика съезда была обширной. Представлены различные аспекты исследования славянских языков: русского, украинского, белорусского, польского, чешского, словацкого, лужицкого, полабского, болгарского, сербохорватского, македонского, словенского. Интересно отметить, что многие зарубежные ученые неславянских стран, например, Австралии, Великобритании, США, Швеции, избрали предме-

том изучения русский язык. Это лишний раз свидетельствует о неуклонном росте его популярности во всем мире.

Большое внимание на VIII съезде было уделено изучению основных тенденций и новейших явлений (в том числе и социолингвистических) в развитии славянских языков и их диалектов, а также основных направлений науки о славянских языках в XX веке. Это показывает, что растет интерес к таким проблемам, как сравнительно-типологическое и сопоставительное изучение славянских литературных языков, научно-технический прогресс и язык, методика изучения разговорной речи и др.

Обсуждались процессы общеславянского характера, важные для понимания исторических путей образования и развития отдельных славянских языков. Рассматривались вопросы праславянского языка, к которому восходят все славянские языки. Решались основные проблемы развития древних славянских языков, в особенности старославянского, обращалось внимание на его объединяющее литературное значение и судьбы у южных и восточных славян. Много докладов было посвящено происхождению, формированию и периодизации славянских языков, их контактам между собой и с неславянскими языка-

ми, а также воздействию на славянские языки иноязычных (греко-латинских, финно-угорских, тюркских, германских и романских) элементов.

Значительное место занимали вопросы изучения языкового родства славянских народов в свете сравнительной диалектологии. В связи с этим следует обратить внимание на то, что съезды славистов призваны ставить и обсуждать проблемы, которые не могут быть решены силами отдельных ученых или какого-либо крупного научного коллектива и даже одной страны. К ним относятся, например, составление лингвистических атласов. Так, решение о создании Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА) было принято IV съездом славистов, который признал эту работу одной из важнейших задач славянского языкознания. Над созданием ОЛА уже много лет успешно работает большой международный коллектив, который возглавляет член-корреспондент АН СССР Р. И. Аванесов. На VII съезде был одобрен план составления Общекарпатского диалектологического атласа (ОКДА). Эта работа осуществляется в Институте славяноведения и балканистики АН СССР под руководством профессора С. Б. Бернштейна и в содружестве с зарубежными учеными.

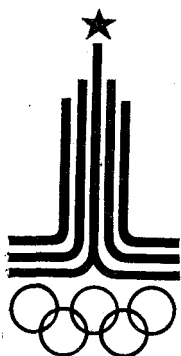
В связи с тем, что 9 сентября 1978 года отмечалось 150 лет со дня рождения Л. Н. Толстого, одно из главных мест в секциях литературоведения и литературно-лингвистической занимала тема «Лев Толстой и современность». Обсуждались вопросы сравнительного изучения славянских литератур в их истории, развития основных литературных направлений в XX веке, теории поэтической речи, а также вопросы языка и стиля писателей и поэтов, перевода с одного языка на другой и многие другие.

Почти все доклады и сообщения сопровождались оживленным обсуждением, обменом мнений.

VIII Международный съезд славистов, без сомнения, явился новым этапом в дальнейшем развитии славистики и способствовал укреплению содружества славяноведов многих стран мира.

7 сентября в Любляне состоялось XIX пленарное заседание МКС, на котором наряду с решением других важных вопросов было единогласно одобрено предложение Советского комитета славистов о проведении очередного, IX Международного съезда славистов в 1983 году в Киеве. Председателем МКС был избран академик М. П. Алексеев.

В. С. ГОЛЫШЕНКО



Проспект Мира — это название будет неоднократно повторяться всеми участниками и гостями Олимпиады-80. Рядом с проспектом строятся огромный крытый стадион на 45 тысяч зрителей, равного которому не найдется на европейском континенте; бассейн с трибунами на девять тысяч мест. Во время проведения Игр XXII Олимпиады здесь будут проходить соревнования по боксу, баскетболу, плаванию, прыжкам в воду и водному поло.

Название *проспект Мира* появилось на карте нашей столицы в 1957 году, во время проведения Международного фестиваля молодежи и студентов. Проспект Мира послужил начальной трассой торжественного шествия делегатов и гостей фестиваля в день его открытия.

Во многих больших и малых городах СССР можно встретить площади, улицы, проспекты с названием *Мир*. И не только в советских городах. В одном из новых кварталов Софии, в Коларовском районе, есть улица Мир. В Улан-Баторе новую часть города, построенную в основном в годы народной власти, пересекает с запада на восток 20-километровый проспект Мира.

Название проспекта образовано по известной в русской топонимии модели — имя существительное (или прилагательное) в форме родительного падежа. До XX века эта модель не была особенно продуктивной при назывании улиц. Впервые она была использована для именования улиц и переулков в начале XIX века. Именно в это время появились 15 *переулков Ямской слободы*. В середине XIX века возникли 1-я, 2-я и 3-я *улицы Измайловского зверинца*. И к концу XIX века в Москве был уже 21 объект с наз-



ваниями в родительном падеже. В московской топонимии эта модель была известна и в более ранние времена, например, в XVII веке, но по ней образовывались преимущественно названия московских церквей: *Бориса и Глеба, Всех Святых, Иоанна Предтечи, Никиты Мученика, Николы Явленного* и т. д. В названиях же улиц города почти исключительной была форма именительного падежа имени существительного или прилагательного: улицы *Никольская, Певчая, Посольская, Ильинка, Варварка* — в Китай-городе; *Тверская, Никитская, Калачная, Чертольская, Знаменка, Арбат* — в Белом городе.

В 1903 году в Москве было 35 названий в родительном падеже (примерно два процента от общего числа). Они были народными по своему происхождению, властям оставалось только зафиксировать их. Названия были, как правило, сложными, состояли из двух-трех слов и служили лишь ориентиром, не были посвящениями: *проезд мимо Петродворца, площадь около Храма Спасителя* и т. д. Первое послереволюционное переименование в Москве было стихийно произведено самим народом, и новое название родилось именно в форме родительного падежа — *Застава Ильича*. В 1928 году географических названий в Москве в родительном падеже было уже 4,6 процента от общего числа. Сейчас из всей массы наименований московских улиц, переулков, площадей названия в форме родительного падежа составляют около 18 процентов.

По этой модели продолжают образовываться не только антропонимические названия — улицы *Чехова, Дзержинского, Кибаль-*

чича, но и символические — *площадь Восстания, улица Новаторов, улица Строителей, шоссе Энгузиастов.*

При своем возникновении проспект Мира включил в свой состав несколько улиц и шоссе: *Троицкое шоссе* (бывшая оживленная Троицкая дорога, шедшая по направлению к Троице-Сергиевой лавре), *Большую Алексеевскую улицу* (названа по бывшему здесь селу Алексеевскому, само же село получило наименование в 1647 году в связи со строительством в нем каменной церкви Алексия-человека божия), *Большую Ростокинскую улицу* (расплагавшуюся на месте бывшего села Ростокино, подаренного в 1447 году боярином Плещеевым Троице-Сергиевой лавре), а также часть Ярославского шоссе.

История этой магистрали уходит своими корнями в седую старину.

В 20-х годах учеными было сделано предположение о существовании у Кремлевского холма в XII веке двух больших дорог. Одна из них шла из Киева в Ростов Великий, Суздаль, Владимир на Клязьме и другие северные города. На территории современной Москвы она пересекала реку Москву у Новодевичьего монастыря (там был брод) и направлялась к современному Крымскому мосту вдоль ручья Вавилона, впадавшего в реку Москву. Далее — к селу Киевцу, находившемуся в районе теперешней Кропоткинской набережной, у Хилкова переулка. Затем дорога шла по левому берегу реки до пересечения с Новгородско-Рязанской дорогой. Отсюда, от Кремля и Китай-города, она проходила берегом реки примерно до современного Китайского проезда, поднималась по нему на север и шла по линии существующих ныне улиц Дзержинского, Сретенки («Устретенки»), проспекта Мира, мимо древнего села Напрудского, стоявшего когда-то на месте современной Трифоновской улицы, затем по линии Ярославского шоссе мимо сел Алексеевского и Ростокина до Троице-Сергиевой лавры, а отсюда — на Ростов Великий и Ярославль. Эта гипотеза основывается в основном на исторических документах XIV века.

В более поздние времена дорога из Москвы на север получила название *Троицкая* или *Большая Троицкая* (ее именовали еще и *Александровская*). По ней везли в Москву из Сибири железо и медь, меха и золото. С Камы и ее верховьев — соль, из Архангельска — белорыбицу, красную рыбу. Из Ростова Великого, славившегося в те времена своими огородами, — овощи. Из Вологды и Костромы шли возы с сушеными грибами, медом, разнообразными травами. В зимнюю пору, например, по дороге проходило около 800 груженых саней. Оживленность этого торгового пути способствовала тому, что дорога стала сравнительно быстро обживаться, заселяться ямщиками, ремесленниками, торговыми людьми. Как известно,

в 1553 году был открыт путь в заморские земли по Белому морю. В связи с этим Троицкая дорога приобрела общегосударственное значение.

Основной частью нынешнего проспекта Мира стала бывшая 1-я Мещанская улица. Именно в районе, где некогда располагались четыре Мещанских улицы, и возводится в настоящее время уникальный олимпийский спортивный комплекс.

Свое название Мещанские улицы получили по образованной здесь в 1671—1672 годах Мещанской слободе (или Новой Мещанской слободе). Слобода называлась *Мещанская* потому, что была заселена в основном выходцами из разных городов Польского государства — поляками, а также белорусами, литовцами, украинцами. Жители польских городов по-русски назывались *мещане* (в русских документах — «местчане», «месчане», от польского *miasto* (място) — 'город'). *Мещанская*, как и многие другие наименования московских слобод, образовано по известной русской модели — имя прилагательное в именительном падеже, образованное от соответствующего существительного при помощи суффикса -к- или -ск-: *мещане* — *Мещанская*, *кузнецы* — *Кузнецкая*, *повара* — *Поварская*, *пушкар* — *Пушкарская* и т. д.

Слобода эта появилась после того, как в Москве после длительной войны с Польшей в царствование Алексея Михайловича появилось много поляков. Одни из них по собственному желанию вместе со своими семьями приехали на жительство в Москву, другие попали в плен и по освобождении не захотели возвращаться в Польское государство. Многие из жителей Мещанской слободы занимались торговлей и ремеслами. Были в слободе лекари, живописцы, мастера по изготовлению окладов для икон. В документе того времени (Строельной книге церковных земель) читаем об одном таком мастере: «...а на тотъ вышеписанный образный окладъ и на вѣнцы к образному киоту на окладъ выдано святѣйшимъ патрнархомъ изъ домовыя казны Новомѣщанския слободы мещанину серебряного дѣла мастеру Ивану Артемьеву 56 ефимковъ, въсу в нихъ 4 фунта без 3 золотниковъ». Кроме того, некоторые жители Мещанской слободы состояли должностными лицами в Посольском приказе и при Посольском дворе, закупали все необходимое для этих учреждений, ведали соболиной казной при русских послах в Польше.

Мещанская слобода имела свою школу и богадельню. Это одна из первых слобод, при устройстве которой была применена линейная застройка.

Кроме того, в старой Москве было еще два других места, где проживали поляки и литовцы. Первое — это Панская слобода в Замоскворечье (в районе улицы Димитрова, нынешних Бабулгород-

ских переулков и Крымской набережной). В Китай-городе пахондилось польское подворье — *Панский двор*, где останавливались официальные лица Польского государства, приезжавшие в Москву. Этот двор упоминается в документах уже в 1508 году, память о нем сохранилась в названии церкви — *Козьмы и Дамиана в Старых Панех*.

Из всех Мещанских улиц свое название сохранила лишь 4-я, которая в наше время называется просто *Мещанская*. 2-я Мещанская в 1966 году была переименована в улицу Гиляровского — в память о замечательном писателе и журналисте, знатоке Москвы В. А. Гиляровском. В середине 1880-х годов писатель жил в доме № 24 на 2-й Мещанской улице, здесь у него бывали А. П. Чехов и И. И. Левитан. В 1962 году получила новое название и 3-я Мещанская улица: ныне это улица Щепкина. Название дано в память о замечательном актере М. С. Щепкине. Последние годы своей жизни, с 1859 по 1863, он жил в доме № 47 на 3-й Мещанской улице.

Строящийся в районе проспекта Мира олимпийский спортивный комплекс окружают еще несколько улиц и переулков.

Большая и Малая Екатерининские улицы получили свое название по находившемуся поблизости Екатерининскому институту благородных девиц (ныне в этом здании помещается Центральный Дом Советской Армии им. М. В. Фрунзе). *Орловский переулок* — укоренившееся старомосковское название, в свое время был назван по фамилии одного из домовладельцев. *Улица Дурова* — так была переименована в 30-е годы в честь крупнейшего деятеля русского цирка, клоуна и дрессировщика В. Л. Дурова бывшая *Божедомка*. На улицу Дурова выходит *Самарский переулок*, который получил свое название, вероятно, по фамилии домовладельца. *Выползов переулок*. Предполагается, что в основе этого названия лежит искаженная фамилия домовладельца Полозова, жившего здесь в середине XVIII века. С XVIII века ведет свою историю и название *Капельский переулок*. Дано оно по речке Капле (притоку реки Напрудной), когда-то протекавшей в этой местности, и церкви Троица на Капельках.

Такова лингвистическая и историческая биография проспекта Мира.

Г. П. СМОЛИЦКАЯ,
М. В. ГОРБАНЕВСКИЙ

Рисунок В. Комарова



Так держать! — одобряем мы деятельность людей, постоянно проявляющих себя в нашей жизни. Источником данного выражения следует считать терминологическое словосочетание, давно бытующее в речи моряков.

Толкование термина можно найти, например, в «Морском словаре» К. И. Самойлова (1939): «Команда рулевому, по которой он обязан удерживать корабль на том курсе, на котором лежал корабль в момент подачи этой команды». Термин с тем же значением известен и на речных судах. Таким образом, рассматриваемое выражение — команда или командные слова водников, то есть словесный приказ, который должен быть понят и выполнен на судах всеми одинаково. По установленному порядку, такая команда слово в слово должна быть повторена тем, к кому она относится. Образуется своего рода трафаретный диалог между командиром и рулевым: «— Ложиться на курс девяносто градусов.— Есть, ложиться на курс девяносто градусов... Легли на курс девяносто градусов.— Так держать! — Есть, так держать!»

Такого рода диалоги нетрудно найти и в художественных произведениях: «Море накрыло волною всю палубу от носа до кормы. Корабль, казалось, напрягал последние силы... Наконец услышали громкий голос того же штурмана:

— Так держать!

— Есть так держать! — обрадованно ответил рулевой» (Новиков-Прибой. «Коммунист» в походе).

Встречаются командные слова в языке газеты: «Командир окнул взглядом беспокойное, покрытое белыми барашками море и, повернувшись к вахтенному рулевому, спросил: — На румбе? — На румбе двести семьдесят,— четко доложил лучший рулевой корабля...— Так держать! — приказал командир и тут же объявил

по трансляции поставленную перед кораблем задачу» («Ленинградская правда», 12 марта 1978).

Как же из команды возник фразеологизм, когда, какие изменения претерпел морской термин при переходе из узкого профессионального употребления в общенародный оборот, какие социальные условия содействовали этому процессу?

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля вместо неопределенной формы *держать* приведена повелительная: *так держи!* При этом добавлено, что данное словосочетание — «...приказ рулевому, коли он правит верно, и, по слову, он замечает путь по компасу». Первым академическим словарем, отметившим *так держать* в прямом значении, является «Словарь русского языка» (1891—1895). Очевидно, только тогда оборот и вошел в литературный язык. Словосочетания нет в Толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова. *Так держать!* не вошло и во «Фразеологический словарь русского языка» под редакцией А. И. Молоткова. Весьма примечательны данные «Словаря русского языка» С. И. Ожегова (9-е изд. М., 1972). *Так держи!* включено в статью на слово *держать*. Однако нет указания на то, что зарегистрированное словосочетание профессионально-морское, имеющее специальное значение, отличное по смыслу от таких выражений, как *держи вправо*, *держи на север*. Чрезвычайно важно, что редактор словаря заметил устойчивость словосочетания и определил его переносное значение: «...одобрение: продолжать так же, как начал».

Между тем с начала 50-х годов выражение с переносным значением все чаще и чаще встречается в языке художественной литературы, а затем и газет, местных и центральных.

Крупные перемены произошли с командными словами при переходе их в фонд фразеологических единиц. *Так держи!* почти совсем вышло из мореходной практики. А *так держать!*, оставаясь термином, превращалось во фразеологизм, изменяло и семантику, и характер употребления, и интонацию. Вот один из ярких примеров переосмысленного *так держать!*, взятый из письма к Валентину Овечкину от 17 октября 1953 года: «Очень радостно, что ты растешь духовно, все больше думаешь о жизни, о своих обязанностях в ней, растешь как советский гражданин. Так держаты!..» (В. Овечкин. Статьи, дневники, письма). Совершенно очевидно, что морской команды здесь нет: нет ни корабля, ни командира, ни рулевого. Выражение порвало всякую связь с обычной для него речевой обстановкой. В тексте нет ни одного профессионально-морского термина. *Так держать!* оказалось в новом для него жанре — частном письме. Не о выборе курса для морского или речного судна идет речь, а о поступках и действиях человека. Синонимами образовавшегося фразеологизма можно было бы считать

держат себя, вести себя, но с той разницей, что словосочетание *так держать!* относится всегда к положительной характеристике действий человека. На основе профессионального значения 'идти по заданному курсу (о корабле)' возникло, таким образом, новое значение 'придерживаться прежней достойной линии поведения (о человеке)'. При изменении семантики стала иной и интонация: в выражении слышится не строгий приказ или команда, а одобрение поведения с пожеланием действовать в том же направлении, как раньше.

Но давала ли морская команда повод появиться ободряющему тону, свойственному фразеологизму? Первым ее компонентом, словом *так*, передается не только нейтральное *таким образом*, но и поощрительное *правильно*. Не случайно В. И. Даль, давая толкование командным словам, заметил о рулевом, что он «правит верно». Таким образом, можно утверждать, что в переосмысленном словосочетании в какой-то мере сохраняется, кроме смысловой связи, еще и интонационная. Известно, что метафора остается живой до тех пор, пока не исчез первоначальный прямой смысл слова или выражения.

Чтобы войти в число фразеологизмов, устойчивому обороту следовало приобрести широкую употребительность. *Так держать!* уже на ранних ступенях фразеологизации отразилось в стихотворении Михаила Дудина «Аврора», где говорится о нахимовцах:

Они стоят. Не шелохнутся даже.
На лентах золотые якоря.
Так и держать! Так и стоять на страже
У всех завоеваний Октября.
Так и держать! Форштевнем резать воду,
У всех границ дозорными кружить,
И жизнью всей всегда служить народу,
Великому отечеству служить.

Официальной команды с ее прямым смыслом — идеей о выборе курса для корабля — здесь тоже нет, хотя и идет речь о движении судна («Форштевнем резать воду»). Команда рулевому заменилась наставлением молодым морякам: выполнять не только очередные служебные обязанности, но и более высокие по отношению к Родине — охрана ее границ, защита завоеваний Октября. Общее значение фразеологизма о должном поведении людей наполняется патриотическим содержанием.

Словосочетание на этот раз не вышло за пределы употребления его в среде моряков. И это лишний раз подтверждает вывод о том, что смысловой сдвиг в командных словах произошел именно в языке моряков, где бытовало сочетание в своем первичном зна-

чении. Фразеологизм продолжал укрепляться, употребляясь в языке художественной прозы, при этом не только писателей-маринистов. Все расширялся круг лиц, которые получали поощрение за передовой опыт работы. Похвала девушкам и юношам, приехавшим строить совхоз в необжитой, безлюдной степи выражена фразеологизмом: «Так держать, хлопцы!» (С. Кружилин. Подснежники). Обращение, где бы оно ни находилось — перед словосочетанием или после него, усиливает ободрение за выполненную общепользую работу. Похвальное *так держать!* относится чаще всего к представителям молодежи. Вот диалог девушек, которые ставят рекорды по укладке бетона на работах по восстановлению разрушенной во время войны гидростанции на Днепре:

«— Сколько вчера уложили, девочки?

— Сто семьдесят.

— Молодцы! Так держать!» (Б. Зубавин. Путешествие на плотине).

Леонид Ильич Брежнев в своей речи при вручении городу-герою Минску ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», отмечая рост объема промышленности за два первых года пятилетки, сказал: «На 590 миллионов рублей выпущено сверхплановой продукции. Ну, что тут скажешь? Хорошо работаете. Так держать!» («Правда», 26 июня 1978 года).

Так держать! выступает не только в качестве итога или вывода вслед за описанием героического поступка, но и как заголовок к статьям и заметкам в газетах. Сообщение из Батуми о том, как моряки спасли пассажирское судно во время шторма, носит заглавие: «Так держать, капитан!» («Известия», 16 февраля 1978 года). Заголовки такого рода говорят о том, что фразеологизм окончательно сложился и стал общеизвестным.

Появление и широта употребления анализируемого фразеологизма обусловлены внеязыковой и языковой причинами: постоянной потребностью отмечать успехи в достижении все возрастающей производительности труда в современной жизни; потребностью в такой фразеологической единице, которая в краткой форме характеризовала бы разностороннюю положительную деятельность людей разных слоев общества, при этом характеризовала бы с такой интонационной выразительностью, какая свойственна междометью.

В заключение приведем телеграмму М. Шолохова председателю одного грузинского колхоза, где точно указан источник рассмотренного фразеологизма: «Радуюсь успехам вашего колхоза. Как говорят моряки: так держать! Курс хороший, правильный» («Литературная газета», 2 февраля 1977).

Б. Л. БОГОРОДСКИЙ



ОБ ОКРОШКЕ, ТЮРЕ, МУРЕ И МУРЦОВКЕ

В конце XVIII века в России вышел в свет «Словарь поварный, приспешничий, кандиторский и дистилляторский», содержащий подробное описание блюд не только русской, но и зарубежной кухни. В части пятой этого уникального издания имеется специальный раздел под названием «Поварня руская», предваряя который, автор сетует на вытеснение отечественных блюд чужеземными — «так что даже сведение о русских блюдах почти совсем истребилось». Дать описание исконных отечественных кушаний — такая задача этого раздела. (В «Поварне русской» мы встречаем такие удивительные кушанья, как, например, «цыплята пеликаном», «голуби на рассвете», «утка глобусом», «гусь в обуви», «голуби компотом» и т. д.). Среди холодных блюд «первой подачи» находим всеми любимую окрошку — холодную, освежающую в жаркий день окрошку, поистине национальное русское кушанье.

Между тем в многочисленных диалектных материалах слово *окрошка* почти совсем не встречается. В Словаре В. И. Даля сведения об этом слове весьма лаконичны: *окрбшка* 'холодная похлебка на квасу, из крошеного мяса, лука и др. приправ' не имеет при себе никаких географических помет. Очевидно, В. И. Даль считал его общенародным. В чем же дело? Может быть, *окрошка* и впрямь не была известна жителю русской деревни?

В диалектах русского языка широко бытовали слова, имеющие тот же корень, что и *окрошка*: *крошанина*, *крошенийна*, *крошёнка*, *крбшево*, *крошанка*. *Крошево* даже вошло в 17-томный «Словарь современного русского литературного языка» в значении 'Кушанье из накрошенных кусков разных продуктов'. Правда, здесь оно имеет ограничительную помету: «простореч.». А впервые в русской лексикографии это слово отмечено еще в конце XVIII века в «Российском целларнусе, или этимологическом российском лексиконе...», изданном в 1771 году. В Вятской губернии (Кировская область) *крбшевом* называли именно *окрошку*. Так же — и в Тверской губернии: «Холодное, смесь крошеного мяса, рубленых яиц, толченого лука, мелко нарезанных кусочков соленых или свежих огурцов и сметаны». В постные дни вместо мяса использовалась рыба, а вместо сметаны — льняное масло. В Архангельской губернии (Холмогорский уезд) подобное блюдо также называли *крбшевом*. Кое-где (например, на Среднем Урале, в Томской области) в наши дни *окрошка* известна под именем *крошёнка*. А на юге (Курская область) *крошёнка* уже нечто иное: это суп с мелко нарезанными (накрошенными) кусочками мяса.

На севере России и на верхней Волге в прошлом веке *крошенийной* (или *крошаниной*) называли не само кушанье, а лишь мелко нарезанные кусочки хлеба (у зажиточных крестьян — кусочки картофеля, огурцов, яиц, мяса и т. п.), то есть все то, что крошилось в разного рода похлебки (не обязательно холодные). Так, в Пермской губернии ели квас с *крошаниной*, то есть с кусочками хлеба; в Вологодской — щи с *крошенийной* или *крошенийну* на молоке, квасе, просто на воде. В Архангельской области и теперь готовят суп с *крошенийной*, уху с *крошенийной*.

В подобном значении в «Опыте терминологического словаря сельского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного» В. Бурнашева (1843) приводится и слово *крбшево* 'щи с накрошенным в них хлебом или сухарями'.

Но более всего распространены указанные слова для обозначения весьма примитивного, очень недорогого и любимого в народе кушанья: кусочков черного хлеба, накрошенных в холодную воду или (реже) в квас. Вот это-то блюдо и следует считать прямым, исконно народным предшественником нашей теперешней

окрошки. Именно в таком значении известно слово *крошенина* на Волге (Ярославская, Костромская, Горьковская области) и на севере нашей страны (Архангельская, Вологодская области). Такую же холодную похлебку называют *крошёнкой* на Урале, в Московской, Новгородской, Калининской, Архангельской областях, в Прионежье. Вот что представляет собой, например, архангельская крошанка: «Раньше ели крошанку, на сенокосе особо: накрошат хлеба, луку, квасом залиют, соли, и это зовется крошанка». Иногда готовят *крошанку* (в Новгородской области — *крошёнка*) на молоке или простокваше. Жители Архангельской области делают еще крошанку из сухарей, заливая их крутым кипятком или супом: «Сухарей насушу до вологи [жидкости] какой налью, да крошанку и ем. Эту крошанку не забыть».

Все перечисленные слова связаны с глаголом *крошить*, и этимология их не представляет затруднений. Сюда же относится и общенародное *окрошка*.

Но излюбленное кушанье простого народа — кусочки хлеба, размоченные в воде или квасе, — в русских говорах имеет и другие наименования.

Вспомним сцену косьбы из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Около полудня шедший впереди старик обратился к Левину, косившему вместе с мужиками. «Ну, барин, обедать! — сказал он решительно... Старик накрошил в чашку хлеба, размял его стеблем ложки, налил воды из брусницы, еще разрезал хлеба и, посыпав солью, стал на восток молиться. — Ну-ка, барин, моей тюрьки, — сказал он, присаживаясь на колени перед чашкой. Тюрка была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать». Да разве может быть вкусна эта примитивнейшая похлебка — хлеб да сырая вода? Конечно, такая тюрка или тюр, известная почти на всей территории России, — далеко не деликатес. Но если представить себе крестьянина, уставшего от тяжелого физического труда и летнего изнуряющего зноя, в короткие минуты отдыха, когда работа еще не окончена, а готовить обед некогда и негде, то можно понять и чувства Левина, с наслаждением евшего незамысловатую крестьянскую тюрку.

Тюр — известнейшая крестьянская еда, не требующая много времени и усилий для приготовления: «С тонкой стряпней некогда возиться, я вам тюрю по-быстрому сделаю» (Краснодарский край). В рассказе В. В. Вересаева «В сухом тумане» рабочий-литейщик замечает: «... деревенская еда известная, — тюр да лук; народ не балованный».

Слово *тюр* так широко бытует по всей территории России, что, отмеченное впервые в XVIII веке в «Российском целларнусе», вошло в современные словари литературного языка без каких бы

то ни было ограничительных помет. Обычная тюря — это куски черного хлеба (или сухари), размоченные в воде или квасе, с солью, луком, иногда приправленные растительным маслом. Были и «варпанты»: иногда хлеб размачивали в молоке, в Костромской области — в щах. А на Дону (1929) тюрей называли еще блюдо из кваса, тертого картофеля, крошенных огурцов, хлеба и соли.

В Псковской губернии хлебная тюря имела еще одно название: *тjопка*. Отмеченное еще в середине прошлого века «Опытом областного великорусского словаря», оно сохранилось на Псковщине до наших дней: «Тюпки похлебаешь да и косить пойдешь». Заметим, кстати, что в Вологодской области существует глагол *тjопать* ‘мешать, месить, смешивать’.

В Белевском уезде Тульской губернии было отмечено еще одно редкое название тюри с квасом или водой: здесь такая похлебка называлась *смьшка*. Видимо, слово это имеет общее происхождение с названием неглубокой ступки для толчения, которая в Орловской губернии именовалась тоже *смьшкой* (то есть, как и *тjопка*, связано с понятием ‘месить, толочь’).

Еще реже употреблялось слово *рощекбда*, отмеченное автором рукописного словаря Вологодской губернии ботаником Н. А. Иваницким (1885). Рощековду, состоящую из кусочков хлеба и толченого лука в подсоленной воде или квасе, вологжане ели во время петрова поста, когда запрещалось употребление мясной пищи.

Но *тjопка*, *смьшка*, *рощекбда* — названия редкие, известны лишь в отдельных местах. Зато почти повсеместное распространение (как и *тюря*) получили такие наименования того же кушанья, как *мурцбвка* и *мурá*.

«Мурцбвочки похлебаем — вот и весь обед в поле», — говорили крестьяне Саратовской области. Мурцовку из хлеба с водой или квасом делали в Поволжье, средней полосе России, в западных, южных, северных областях, в Сибири. Иногда добавляли туда картошку (Калининская область). А в Московской области готовили еще запáрную мурцбвку: «...делали с кипятком. Кто любил холодную, а кто запарную... Раньшы дефки на фабрику хадили в Зарайск и фсе брали с собой мурцофку» (А. Ф. Иванова. Словарь говоров Подмосковья).

Иногда словом *мурцовка* обозначали и другие кушанья. В Нюксенском уезде Вологодской губернии *мурцовой* называли кушанье из ягод и муки. А в Шигонском районе Куйбышевской области так называют заправленный сметаной салат из огурцов, помидоров, грибов и картошки.

Широко бытовало и слово *мурá*, особенно хорошо известное в среде волжских бурлаков. Бурлаки ели муру обычно между обедом

и ужином, а иногда — до горячего завтрака. «Мура готовилась таким образом: крошили ржаной хлеб мелкими кусками, складывали его в чашки, слегка намазывали постным маслом, посоливши, все это встряхивали в чашке, а затем наливали в этот хлеб холодную воду из реки... и хлебали», — так пишет о муре С. П. Неуструев в «Словаре волжских судовых терминов» (1914). Бурлаки такую похлебку (особенно одобренную толокном, на квасу) считали лакомством.

Ф. И. Шаляпин, уже будучи признанным артистом, певцом с мировым именем, вспоминал лакомство своего детства: «...из ржаных толченых сухарей или крошеного черствого хлеба вкусную „муру“ — холодную похлебку на квасу, с луком, солеными огурцами и конопляным маслом», которую делала когда-то мать (Страницы из моей жизни).

Бурлаки готовили еще горячую муру — на горячем бульоне, подобную запарной мурцовке Подмосковья.

Но муру делали не только бурлаки. Так же, как тюря и мурцовка, мура была едой крестьян, фабричных рабочих. Ели ее обычно даже не с квасом, а с сырой водой: это не только не требовало особых затрат на продукты, но и позволяло готовить несложное кушанье в условиях полевой страды или другой тяжелой, изнурительной работы, когда в ход идет все, что случится под рукой — всякая примитивная, «ерундовая», малостоящая снедь. Отсюда, по всей вероятности, возникло и современное значение: *мура* — ‘ерунда, чепуха, чушь’.

Слово *мура* было широко распространено на значительной территории — в основном, в средней России и в Поволжье. Кое-где оно имело иное ударение: *мýра* (Смоленская, Архангельская, Олонецкая губернии). А в Череповецком уезде Новгородской губернии то же кушанье в начале XX века называлось еще *подмýрье*. Жители Петербургской губернии называли *подмýрой* жидкость от мур. В Рязанской области известно слово *подмýрок*: когда из мурцовки съедят гущу, то в оставшуюся подсоленную воду с маслом добавляют еще хлеба и лука. Это и есть подмурок — та же мура, но приготовленная как бы вторично, на той же жидкости.

Итак, *тýря*, *мурá*, *мурцбака*, *подмýра*, *рощекóвда*, *смýшка*, *тýпка* — так называли в народе род похлебки (обычно холодной) из хлеба, на воде или квасу. Подчеркнем еще раз: это была еда простого, по большей части, бедного народа, выполнявшего тяжелую, изнурительную работу. Вот почему в некоторых областях *мурцовой* стали называть вообще все трудное, тяжкое: мучительные хлопоты, неурядицы, горе, неустроенную, нищую жизнь. «*Мурцовку хлебать*», — так говорят в Иркутской области об изнурительной работе. А на средней Оби известно выражение *хватить мур*•

цовки 'много испытать, пережить, хватить лиха': «Голод — тоже мурповка. Хватили в войну мурповки». Любопытно, что слово *тюря*, видимо, тоже имело подобное значение: по крайней мере, в диалектных записях конца прошлого века по Кадниковскому уезду Вологодской губернии встречается оно в значении 'беда, пожар'.

Ну, а что же окрошка? Та самая, что мы едим, накрошив в квас всякой всячины: огурцов, лука, яиц, мяса, зелени, добавив сметаны? Та самая, без которой трудно представить настоящую русскую кухню?

Откроем изданный в середине прошлого века «Опыт терминологического словаря» В. Бурнашева. «Окрошка,— читаем мы там,— холодная яства из крошеного мяса с квасом и сметаной, а иногда с маслом, уксусом и другими пряностями». Во времена В. Бурнашева слово *яство* обозначало уже не просто пищу, снедь, а пищу лакомую, дорогую, изысканную. А такая окрошка едва ли была доступна простому народу. Примечательно, что и *крошенина* стало обозначать в говорах окрошку не ранее конца XIX века.

Остается предположить, что современное слово *окрошка* возникло отнюдь не в крестьянской среде. Оно родилось, очевидно, в языке более зажиточных слоев русского общества, где простонародные *мура* и *тюря* претерпели существенные изменения, превратившись в дорогостоящее и лакомое блюдо.

Е. И. ЭТЕРЛЕЙ

Рисунок В. Толстоногова



► Поэма Н. А. Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо»
знакома всем. В ней мы нахо-
дим такие строки:

Про балаган прослышавши,
Пошли и наши странники
Послушать, поглазеть.

Комедию с Петрушкою,
С козю с барабанщицей
И не с простой шарманкою,
А с настоящей музыкой
Смотрели тут они.

Балаган был очень попу-
лярен в России. В XVIII и
XIX веках это было единст-
венное доступное простому
народу зрелище. Впервые сло-
во балаган зафиксировано
Словарем Академии Россий-
ской в 1789 году. В диалектах
русского языка оно имеет мно-
го значений, которые можно
свести к одному: *балаган* —
‘временная легкая постройка
(шалаш, шатер, сарай) для
различных надобностей’. Ба-
лаганы возводились во время
ярмарок для торговли; в по-
стройках такого типа жили
рабочие в летнее время. В та-
ком значении *балаган* встре-
чается в романе А. Н. Толсто-
го «Петр Первый»: «По скло-
ну горы раскиданы мазаные
хаты и дощатые балаганы ра-
бочих».

Но у интересующего нас
слова есть и другое значение—
‘театральное», связанное с
первым, о котором уже было
сказано. В 17-томном «Слова-
ре современного русского ли-
тературного языка» говорит-



ся, что балаган — это «Временное сооружение (постройка на открытом воздухе) для массовых театральных зрелищ с площадкою для клоунских выступлений, комических сцен и т. п., сопровождаемых незатейливой музыкой».

«Театральное» значение связано с вышеприведенным, так как поначалу для представлений специальных помещений не строили, а приспособляли торговые балаганы, которые возводились в дни ярмарок. Позднее это второе значение слова почти вытеснило первое, так как для представлений начали строить специальные помещения, которые стали называть *балаганами*. Они украшались пестрыми, яркими полотнищами, на которых были изображены сцены из представляемых пьес.

Балаганы для зрелищ известны в России с XVIII века, когда в 1702 году в Москве по приказу Петра I была построена «деревянная комедияльная хоромина», представлявшая собой внушительных размеров балаган. Они получили широкое распространение благодаря своему репертуару. В представлениях большое внимание обращалось на различные эффекты: стрельбу, барабанный бой, «полеты», «чудесные превращения» и т. д. Пьесы были просты, непритязательны, иногда грубы, пошловаты, сделаны кое-как. В балаганах выступали акробаты, жонглеры, силачи, гимнасты. А приглашал народ на представление так называемый балаганный дед-завывала. Его приглашения зачастую были небезобидны и содержали довольно острые выпады в адрес господствующих классов. В этих приглашениях-импровизациях можно легко увидеть связь с традициями русских скоморохов.

В Москве балаганы устраивались около Лужников на Девичьем поле, а в Петербурге — в самом центре города, на Марсовом поле. Один из балаганов в Петербурге отличался от своих «собратьев» прежде всего репертуаром. Организован он был А. Я. Алексеевым-Яковлевым, который пропагандировал в народе произведения Пушкина, Гоголя, Некрасова, Островского. Назывался балаган многообещающе — «Развлечение и польза».

В балаганах начали свой творческий путь многие впоследствии известные артисты, например, А. Л. и В. Л. Дуровы. Балаганы существовали и в XX веке, правда, в несколько измененном виде.

Казалось, что и слово *балаган* и само понятие безвозвратно исчезли. Но нет, о балагане вспомнили, и совсем недавно. В Ленинграде на сцене Малого драматического театра появился спектакль «Балаган», автором которого и единственным исполнителем был артист Виктор Харитонов. В шуточной рецензии на этот спектакль журнал «Аврора» в № 10 за 1972 год писал: «В балагане ведь что интересно? А то, что в нем все есть, все возможно. Тут тебе



Гулянье на Девичьем поле. С картины К. Ф. Юона

и шут кривляется, и арлекин кушлеты насвистывает. И марионетка ножками дергает. Все как бы шутя... не пустяками развлекает почтенную публику... Виктор Харитонов, а говорит о серьезном. Кривляется пошлость, посвистывает глупость, дергает ножками ханжество и лицемерие. „Балаган“, а поди ж ты... Сильное зрелище!».

Слово *балаган* имеет и уменьшительную форму — *балаганчик*. Именно так назвал свою пьесу и стихотворение А. А. Блок:

Вот открыт балаганчик
Для веселых и славных детей.
Смотрят девочка и мальчик
На дам, королей и чертей.

Мы уже говорили о невысоком качестве пьес, «даваемых на балаганах». Поэтому слова *балаган* и *балаганный* стали нарицательными и обозначают все грубое, трескучее, шутовское, пошлое. Например, в рассказе А. И. Куприна «Как я был актером» читаем: «Ставили пьесу „Новый мир“, какую-то нелепую балаганную переделку из романа». Слова *балаганить*, *балаганичить* значат ‘держаться себя несерьезно, паясничать, дурачиться’: «Да не балагань, говори, в чем дело! И без того довольно похож на Бобчинского!..» (К. М. Станюкович. Пассажирка).

В. С. ФИЛИППОВ
Рисунок В. Толстоногова



ПОД- БЛЮДНЫЕ ПЕСНИ

В балладе В. А. Жуковского
«Светлана» читаем:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали...
В чашу с чистою водой
Клади перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.

Один из способов гадания под Новый год такой. Опрокидывалось большое блюдо (или накрывалось чем-либо), под него (или в него) клали предметы с определенным значением. Участвующие в гадании поочередно вынимали их. Такое гадание сопровождалось пением обрядовых песен — *подблюдных*. *Блюдо* — древнее слово, оно сохранилось во многих славянских языках: болгарском, польском, сербохорватском, верхне- и нижнелужицком, украинском. Считается общеславянским заимствованием из готского. В древнерусском языке слово *блюдо* отмечено в ранних памятниках: «А се я Всеволодъ далъ есмь *блюдо* серебряно въ 30 гривенъ серебра стму же Георгиеви» (имеется в виду монастырь святого Георгия) [Грамота кн. Мстислава, 1130 г.]. Блюдо меньших размеров называлось *блюдьце*: «...далъ есмь сыну своему Ивану... блюдо серебряно [] 2 *блюдци* меншии» (Духовная грамота Ивана Калиты, 1339 г.),

СУЖЕНЫЙ- РЯЖЕНЫЙ



«Суженый, ряженный, приходи ко мне ужинать»,— говорила девушка во время святочного гаданья, желая узнать, кто будет ее женихом. Чтобы увидеть жениха во сне, она запирала на замок колодез или ведра с водой, клала ключ под подушку, приговаривала: «Приди, мой суженый, приди, мой ряженный, пить попроси». По народному поверью, если суждено девушке в этом году выйти замуж, то жених придет к ней во сне и попросит пить. Также жених приснится, если положить в изголовье постели мыло, гребень и пояс и сказать: «Суженый, ряженный, умой меня, причеши меня, опояшь меня».

Для парня его невеста тоже «суженая, ряженая». В старинных свадебных обрядах так называет жених свою невесту:

Ой ты комонь, мой комонь,
Комонь — вещая лошадь,
Сослужи-ка мне службу,
Мне по *сужену* ехать,
Мне по *ряжену* ехать...
Не увижу ли я *сужену* свою,
Свою *суженую, ряженую*,
Что у тещюшка во терему,
Что у тещи за занавесой.

Чердынская свадьба.
Записал и составил
И. Зырянов.
Пермь, 1969

Ряженный в этом примере не имеет никакого отношения к глаголам *рядиться, наряжаться* 'одеваться во что-либо'. Слово *ряженный* образовано от глагола *рядить* (*ряжу*), а *суженый* — от *судить*

(сужу). И ряженный, и суженый имеют одно значение 'назначенный, предначертанный, предопределенный судьбой, на роду написанный'.

Синонимичность глаголов *судить* и *рядить* знакома нам, особенно по сказкам, былинам. В древнерусском языке она обычна: «*Судити и рядити* игумену Иоанскому самому братию, а иному никому не вступатию» (Грамота вкладная, XIV в.). Это отразилось и на части производных слов: *судъ* и *рядъ* в числе прочих имели значение 'устав, правило, договор', *судьница* и *рядьница* — 'договор, установление', *судьникъ* и *рядьникъ* — лицо по значению глаголов *судить* и *рядить*.

Со временем глагол *рядить* в этом значении перестал употребляться. Слово же *ряженный* задержалось в языке и почти всегда встречается в паре с *суженый*. «Сужена — ряжена не обойдешь и на коне не объедешь», — говорится в пословице; то есть того, что суждено тебе, не избежишь, не минуешь.



РЯЖЕННЫЕ

Обычай ходить ряженными прочно связан с Новым годом. Вспомним, как описывает Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» появление ряженных в доме Ростовых: «Наташа не кончила еще петь, как в комнату вбежал восторженный четырнадцатилетний Петя с известием, что пришли ряженные... Наряженные дворовые: медведи, турки, трактирщики, барыни, страшные и смешные, принося с собой холод и веселье, сначала робко жались в передней; потом, прячась один за другого, вытеснились в залу; и сначала востенчиво, а потом все веселее и дружнее начались песни, пляс-

ки, хороводы и святочные игры... Через полчаса в зале между другими ряжеными появилась еще старая барыня в фижмах — это был Николай. Турчанка был Петя. Паяц — это был Диммлер, гусар — Наташа и черкес — Соня, с нарисованными пробочными усами и бровями».

Этот обычай не имеет ничего общего с христианством. Языческое празднование Нового года и первого в году праздника в честь Солнца и Перуна христианская церковь соединила с праздником рождения христового, но не смогла искоренить народные обряды, игры и увеселения, сопровождавшие встречу новолетия. От древнейших времен остался и обычай переодевания, переряживания в зверей, птиц, чудовищ, что первоначально имело свой смысл. По верованиям древних, под Новый год злые боги посылали на землю бесов вредить людям. Под маской, в чужом облики человек оставался неузнанным и тем самым укрывался от действия злых сил.

Совершенно освободившись от представлений древнего язычества, но сохранив непринужденность и красоту истинно народного увеселения, обычай ряжения остался в маскарадах современных новогодних балов.

ПРИСЯГА



Одно из интересных слов, оставшихся в нашем языке со времен язычества — *присяга*. Корень его *-сяг-* с общим значением касания, дотрагивания. В современном русском языке сохранились слова того же корня *осязать*, *осязание*. В украинском есть глагол *сягати*, *сягнути* 'доставать, хватать'. В древнерусском отмечены *присяжи* (*присягу*), *присягати* (*присягаю*) в значении 'прикос-

путься, дотронуться»: «*Присязи дѣтища моего*» (Мучение св. Трифона из февр. Минеи-Четьи, по списку XV в.); «*Весь присязая мертвечинѣ их*» (Книга Левит). В последнем примере по списку памятника XIV века *присязая* заменено словом *прикасаея*.

Присягой называлась клятва священным предметом, первоначально сопровождаемая прикосновением к нему. Григорий Назианзин, древнегреческий богослов IV века, сочинения которого с принятием христианства были широко известны на Руси, перечисляя языческие присяги, писал: «Овъ же, дрънъ въскрущъ на главѣ покладая, присягу творить, овъ же присяги костьми члвчами творить (тот, ком земли положив на голову, присягу творит, другой же творит присягу человеческими костями)» (Григория Богослова 16 слов с толкованием Никиты Ираклийского, XIV в.). Современное русское *дѣрн* (древнерусское *дърнѣ*) этимологи соотносят с глаголом *драть* (*деру*), у существительного с этим корнем в ряде родственных языков есть значение 'кусок, часть', то есть 'то, что содрано, отколото'. Клятва-присяга с дерном на голове, видимо, была распространена у русских, во всяком случае, об этом есть свидетельства поздних источников. В сочинении митрополита Евгения «О разных родах присяги у Славянорусов» (Труды общества истории и древностей, 1826) упоминается такой обычай при решении земельного спора: «Олешка *положа себѣ земли на голову* отвелъ той пожнѣ межу... Пронька Михайловъ *положа земли на голову* ту спорную землю об(о)шелъ».

С древнейшими языческими присягами боролась христианская церковь. По закону, установленному греческим императором Константином, действующему и на Руси в первые века христианства, предписывалось: «Всяко село, в нем же требы бываютъ. или присягы поганьскы. да отдаются въ б(ож)ии храмъ (всякое село, в котором бывают жертвоприношения и языческие присяги, отдается в божий храм)... Иже творять требы и присягы. да продасться со всѣмъ имѣньемъ своимъ. а цѣна ихъ дасться нищимъ (кто творит жертвоприношения и присяги, будет продан со всем имуществом своим, а стоимость раздать нищим)» (Закон Судный, по списку 1280 г.).

В современном языке *присяга* означает официальную и торжественную клятву выполнять определенные обязательства: например, *воинская присяга*. Прилагательное *присяжный* устарело, но в языке недавнего прошлого оно было: *присяжный заседатель*, *присяжный поверенный* (так в царской России называли адвоката). Назначение присяжных на должность сопровождалось принятием ими присяги.

Н. В. ЧУРМАЕВА.
Рисунки С. Гавриловой

ИЗ СЛОВАРЯ РУССКИХ ФАМИЛИЙ

Продолжение. См.: 1976, №№ 1—6; 1977, №№ 2—6; 1978, №№ 1—6; 1979, № 1

Репин, Репнин. Отчество от старинных русских прозвищ или нецерковных мужских имен Репа и Репня. В Костромском уезде 1524 года документирован крестьянин Репа; княжеский род Репнины пошел от князя Ивана Михайловича Оболенского по прозвищу Репня. Фамилии связывают со словами *репа* — 'овощ', *репня* 'тюря, похлебка из репы'. Исследователь Ю. К. Редько объясняет украинскую фамилию Репа из *репати́ся* 'трескаться', этот же глагол известен в южно-русских говорах (с. Хворостань Воронежской губернии — привел А. Пуринцев в журнале «Живая старина», 1906, вып. 1).

Реутов. Отчество от прозвища Реут. В Новгородских писцовых книгах 1495 г. записан крестьянин Юрко Реут. Основной имени предполагали *реут* (*реву́т*) 'большой колокол'. Б.—О. Унбегаун в своей книге о русских фамилиях «Russian surnames» (Oxford, 1972) уточнил значение прозвища: 'ревуший, шумящий', минуя значение 'колокол'. Таковы, очевидно, гидронимы Реут (притоки Днестра, Сейма, Остра, Оки), В фамилиях

Реутовы ударение удержано на первом слоге, но в названии подмосковного города привычным стало произношение Реу́тово.

Решетников. Отчество от именования отца по профессии *решетник* — ремесленник, изготавливающий решета.

Ржевитин(ов). Именования на *-итин* от названий городов (в данном случае — из Ржев) были часты в XV—XVII веках; сыновья получали отчества с *-ов*.

Родин. Отчество от уменьшительной формы Родя из канонического мужского личного имени Родион (древнегреческое предположительно от *родон* 'роза').

Ромашихин, Л. И. Ромашихина из Лодейнопольского района Ленинградской области спрашивает о происхождении ее фамилии. В основе этой фамилии — именование женщины Ромашиха, то есть жена Романа, вероятней, даже вдова, сына которой звали (чей?) *ромаши́хин*.

Романкин. Фамилия не имеет никакого отношения к цветку *ромашка*, а возникла как отчество от уничтожительной формы Ромашка из канониче-

ского мужского имени Роман (латин. *romanus* 'римский, римлянин') через промежуточную форму Ромаш. Есть и фамилия Ромашков — отчество от формы Ромашко из того же имени.

Росомахин. В документах написание колебалось — Россомахин, Расомахин. Отчество от прозвища отца Росомаха из диалектного нарицательного *росомаха* 'неповоротливый, нерасторопный, веряха' (в основе тождественное наименование хищного пушного зверька).

Ростовцев. Отчество от именования отца по местности — *ростовец*, то есть из Ростова.

Рочегов. В. П. Рочегов спрашивает о происхождении его фамилии. Можно ответить лишь предположительно (тем более, что спрашивающий даже не указал место ударения). Возможна связь с диалектным *рочег* 'рычаг' (тул., рязан.). Но суффикс *-ег* характерен для имен удмуртов (Гачег, Седег) и соответственно отчеств, ставших фамилиями; основа *роч* в пермских языках выражала различные значения, из них наиболее вероятно — 'русский'. Фамилия документирована в Нижнем Заволжье — с. Корчевка Николаевского уезда Самарской губернии 1897 г.

Рощупкин. Читатель А. В. Рощупкин из Ворошиловграда, интересуясь происхождением своей фамилии, пишет: «Долгое время я был убежден, что моя фамилия довольно редкая и встречается лишь в нашей области... Постепенно выяснилось, что владельцы такой фамилии — жители городов Старого Оскола, Керчи, Киева, Смоленска, Москвы. В газетах стал встречать заметки о моих однофамильцах из Казахстана, Тульской и Курской губерний, с Дальнего

Востока». К сожалению, пока нет никаких данных, чтоб осуществить его замысел: выяснить, из какого очага и когда рассеялись по стране носители этой фамилии. Но, вероятно, она возникала не раз, так что больше однофамильцев, чем дальних родственников. Она произошла как отчество от прозвищного именования Рощупка из глагола *расщупать*, который означал 'разузнуть, познать' (диалект. — *расщухать*). Фамилия фигурирует в различном произношении — с *а* или *о* и в различных написаниях (Расщупкин, Ращупкин, Росщупкин и др.).

Ртищев. Отчество от нецерковного имени отца — Ртище 'большеротый'. В Словаре древнерусских личных имен Н. М. Туникова приведены: наместник в Радонеже (XIV в.) Терентий Ртище, судья Ртище Васильев (1539), московский дьяк Василий Ртищев (1635).

Рудаков. Отчество от прозвища или нецерковного мужского имени Рудак. Ранние примеры имени: крестьянин Рудак в Вотской пятине (1555), дьяк Рудак в Москве (1585), Федор Дмитриев Рудаков — томский казак (1661). Общеславянское и древнерусское слово *руда* 'кровь', из него — *рудак* 'красный, рыжий'. На Севере фамилия Рудаков была очень часта, здесь *руда* — 'грязь, пятно' и *рудак* 'грязный, выпачканный'. По переписи 1897 года в Архангельской губернии записано 468 человек с этой фамилией в Шенкурском уезде и 342 — в Холмогорском уезде.

В. А. НИКОНОВ

Продолжение следует



ВЕШНИЙ

«Вешнее солнышко землю воскрешает; Вешняя пора — поел, да со двора; За вешней пашней шапка с головы свались — не подниму; Убери пень в вешний день, и пень будет пригож», — так издавна говорят в народе о весне, о горячей весенней поре.

Вешний квалифицируется в литературном языке как синоним к слову *весенний*. В этимологических словарях русского языка говорится, что оба слова образованы от существительного *весна*. Например: «Вешний. Древнерусское образование посредством суф. *-j-* — от *весна* (см.): *сиј>ши*» (Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. Краткий этимологический словарь русского языка).

Слово *вешний* известно русскому языку давно. Оно помещено в «Материалах для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского и иллюстрировано примерами из письменных памятников XII века. Слово было весьма распространенным в русских говорах, что подтверждается обилием различных по тематике пословиц и поговорок, включающих его в свой состав: *Любовь холостого, что вешний лед; Уплыли годы, как вешние воды; Недозрелый умок, что вешний ледок.*

Вешний более 20 раз употребил в языке своих произведений А. С. Пушкин: «Гонимы вешними лучами, С окрестных гор уже снега Сбежали мутными ручьями На потопленные луга» (Евгений Онегин); «...в Полтаве нет Красавицы, Марии равной. Она свежа, как вешний цвет, Вздлеянный в тени дубравной» (Полтава). Встречается слово и в произведениях А. П. Чехова: «Весь луг и кусты около реки утонули в вешних водах...» (Мужики), а И. С. Тургенев включил его в название повести — «Вешние воды».

Долгое время прилагательное *вешний* употреблялось только в народных говорах и в языке художественной литературы, в кото-

ром оно воспринималось как поэтическое и устаревшее. Даже в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935) оно помечено еще как областное и поэтическое, а в 4-томном академическом «Словаре русского языка» (1957) — как устаревшее и областное.

В настоящее время *вешний* используется в языке художественной литературы как обычное литературное слово: «Всю зиму Макшеев промаялся простудой, два раза лежал в районной больнице, а по весне, когда заговорили вешние ручьи, начал окончательно поправляться» (А. Иванов. Жизнь на грешной земле); «Неяркая вешняя молния сиганула в лесную теплую мглу» (В. Белов. Весенняя ночь); «Люди хмелели от сквозного вешнего ветра, от крепкого запаха талой земли» (Е. Носов. На рассвете); «Вешняя вода тысячью пенных каскадов устремилась в узкие проходы между пнями» (А. Рыжов. Плотогоны).

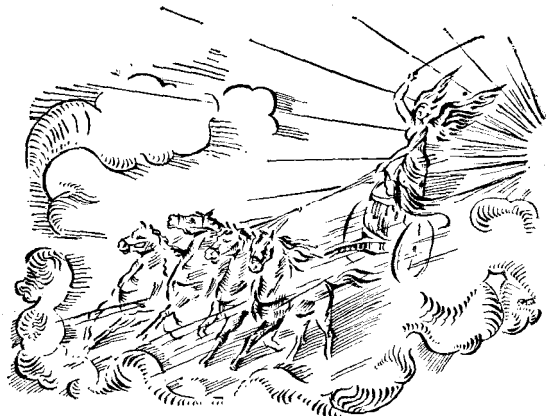
Часто встречается *вешний* в центральных газетах, в сообщениях радио и телевидения: «Метров на тридцать тянется над нами дерево в вешнее костромское небо» («Правда», 26 мая 1976); «Под вешним солнышком обновляется жизнь» («Правда», 1 марта 1977); «Необходимо успеть закончить полевые работы до того, как вешние ветры унесут из почвы значительную часть влаги» (Программа «Время», 20 апреля 1976).

В настоящее время слово *вешний* получило широкое распространение в различных функциональных стилях литературного языка, поэтому более убедительной выглядит стилистическая квалификация его в 17-томном академическом «Словаре современного русского литературного языка», а также в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (изд. 10-е, 1973), где оно представлено как литературное.

Характерно, что, употребляясь в литературном языке, слово приобрело прочные связи с определенным кругом литературной лексики (*вешняя вода, вешний гром, вешнее небо* и др.). Представляет интерес толкование значения слова, которое дает Словарь Ожегова: «Вешний. Весенний (о погоде, состоянии природы и т. п.)».

Являясь синонимами, *вешний* и *весенний* различаются по степени сочетаемости с другими словами. *Весенний* имеет более широкое значение. В таких словосочетаниях, как *весенние полевые работы, весенний сев, весенние заботы* и под., *весенний* нельзя заменить на *вешний*.

В. А. Филатов
Рисунок В. Комарова



ЗОЗИНОВЫЙ

Это редко употребляемое прилагательное вновь встретилось в недавно изданной брошюре М. Н. Наумова «Оргтехника филатели» (М., 1977), в которой приведен весьма подробный перечень цветовых тонов и их оттенков, какие филателисты должны различать при определении коллекционных почтовых марок. Значение слова раскрывается уже в самом списке: в скобках поясняется, что *зозиновый* — «цвета зари». Таким образом, он обозначает один из тонов красного цвета.

Заря, особенно утренняя, может иметь немало разнообразных оттенков — от розового до ярко-алого. Например, в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова: «Тучки серые разгоняючи, Заря алая подымается...». Иначе у А. С. Пушкина: «Румяной зарею Pokрылся восток...» (Вишня). Для обозначения цвета зари в русском языке, в зависимости от интенсивности ее окраски, употребляются прилагательные *багряная*, *пунцовая*, *пурпурная* и другие.

Для определения через цвет зари различных предметов и явлений используется цветное прилагательное *зоровой*, то есть имеющий окраску, напоминающую цвет зари, например: «Срежешь пониже трубочку-ножку, перевернешь грибок, так и ослепит тебя *зоровой* изнанкой» (В. Бочарников. После дождя). Однако оно имеет, пожалуй, народно-поэтический оттенок. Филателисты же для обозначения подобной окраски, как видим, предпочитают заимствованное прилагательное *зозиновый*. Сравним соответствующие ему в немецком языке — *eosinrosa* и во французском — *rose-éosine*.

В «Словаре иностранных слов» под редакцией И. В. Лёхина и Ф. Н. Петрова (1949) приведен термин *зозин*. Зозины, в частно-

сти,— некоторые органические красители, придающие шерсти, шелку, бумаге различные оттенки красного цвета. Термин *зоин* употребляется также и в медицине и тоже связан там с окрашенностью. Словарь отмечает, что слово образовано от греческого *эос* 'утренняя заря'. Более того, *Эос* — имя собственное, так в древнегреческой мифологии называли богиню утренней зари (кстати, более привычное в этом значении имя *Аврора* принадлежит древнеримской мифологии).

Читая «Одиссею», мы встречаем строки о том, как над землей поднимается «с перстами пурпурными *Эос*». Это разгорается заря. *Эос* — сестра Гелиоса и Селены, то есть солнца и луны. Ранним утром прекрасная *Эос* мчится с востока по небу на колеснице, запряженной белыми конями, и оповещает мир о скором появлении своего брата Гелиоса...

Таким неожиданно поэтическим оказывается происхождение весьма редкого прилагательного *зоиновый* (*розовый, алый, цвета зари*), восходящего к имени древнегреческой богини.

Н. В. Тоцигин

На обложке:

Н. В. Гоголь. К 170-летию со дня рождения. Рисунок Б. Захарова

При перепечатке

ссылка на журнал «Русская речь» обязательна

Рукописи не возвращаются

Редакционная коллегия:

Н. С. ВАЛГИНА, В. П. ВОМПЕРСКИЙ, А. И. ГОРШКОВ, К. В. ГОРШКОВА, В. П. ДАНИЛЕНКО, И. Г. ДОБРОДОМОВ, Л. П. ЖУКОВСКАЯ, В. В. ИВАНОВ (главный редактор), Л. М. ЛЕОНОВ, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора), Н. А. РЕВЕНСКАЯ (ответственный секретарь), Л. И. СКВОРЦОВ (зам. главного редактора), Ю. С. СОРОКИН, Ф. П. СОРОКОЛЕТОВ, Ф. П. ФИЛИН

Зав. редакцией Т. С. Колмакова

Художественный редактор Т. А. Михайлова

Корректоры В. В. Беляев, Г. Н. Шамина

Сдано в набор 12.12.78. Подписано к печати 28.02.1979 Т-01243

Формат бумаги 84×108/32. Печать высокая. Усл. печ. л 8,4 Уч.-изд. л. 10,2

Бум. л. 2,5 Тираж 60 200 Зак. 1228

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10